

Сборник рассказов, эссе. Джордж Оруэлл

Казнь через повешение

Перевела с английского М. Теракопян

В Бирме был сезон дождей. Промозглым утром из-за высоких стен в тюремный двор косыми лучами падал слабый, напоминавший желтую фольгу свет. Мы стояли в ожидании перед камерами смертников, похожими на клетки сараев, с двумя рядами прутьев вместо передней стенки. Камеры эти размером примерно десять на десять футов были почти пустыми, если не считать дощатой койки и кружки для воды. Кое-где у внутреннего ряда прутьев сидели на корточках, завернувшись в одеяла, безмолвные смуглые люди. Их приговорили к повешению, жить им оставалось неделю или две.

Одного из осужденных уже вывели из камеры. Это был маленький тщедушный индус с бритой головой и неопределенного цвета водянистыми глазами. На лице, как у комического киноактера, топорщились густые усы, до смешного огромные по сравнению с маленьким туловищем. Все обязанности, связанные с его охраной и подготовкой к казни, были возложены на шестерых стражников-индусов. Двое, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, наблюдали, как остальные надевали на осужденного наручники, пропускали через них цепь, затем прикрепляли цепь к своим поясам и туго прикручивали ему руки вдоль бедер. Стражники окружили осужденного плотным кольцом, их руки ни на секунду не выпускали его из осторожных, ласкающих, но крепких объятий, словно ощупывая, в неотступном желании убедиться, что он никуда не исчез. Подобным образом обычно обращаются с еще трепыхающейся рыбиной, норовящей выпрыгнуть обратно в воду. Осужденный вроде и не замечал происходящего: он не оказывал ни малейшего сопротивления, вялые руки покорялись веревке.

Пробило восемь часов, и во влажном воздухе раздался слабый безутешный звук рожка, донесшийся из отдаленных казарм. Услышав его, начальник тюрьмы, который стоял отдельно от нас и с мрачным видом ковырял тростью гравий, поднял голову. Это был человек с хриплым голосом и седой щеточкой усов, военный врач по образованию. «Френсис, поторопитесь, ради Бога, – раздраженно произнес он, – Осужденный уже давно должен быть мертв. Вы что, все еще не готовы?»

Старший надзиратель Френсис, толстый дравид в твидовом костюме и золотых очках, замахал смуглой рукой. «Нет, сэр, нет, – поспешно проговорил он, – у нас все вполне готово. Палач шдет. Можем идти».

«Тогда давайте поскорее. Пока мы не покончим с этим делом, заключенные не получат завтрака».

Мы направились к виселице. Слева и справа от заключенного шагало по два стражника с винтовками на плечо, еще двое шли сзади него, вплотную, одновременно поддерживая и подталкивая его в спину. Судьи и все прочие следовали чуть поодаль. Пройдя десять ярдов, процессия, без всякой команды или предупреждения, вдруг резко остановилась. Произошло нечто ужасающее: одному Богу известно, откуда во дворе появилась собака. С громким лаем она подлетела к нам и принялась скакать вокруг, виляя всем телом, обезумев от радости при виде большого количества людей. Это был крупный пес с длинной густой шерстью, помесь эрдель-терьера и дворняги. Какое-то мгновение он в восторге кружил около нас, а потом, прежде чем кто-нибудь успел помешать, рванулся к осужденному и, подпрыгнув, попытался лизнуть ему лицо. Все застыли в оцепенении, настолько потрясенные, что никто даже не пытался удержать животное. «Кто пустил сюда эту чертову скотину? – со злостью выкрикнул начальник тюрьмы. – Поймите же ее!»

Выделенный из эскорта стражник неуклюже бросился ловить пса; пес же подпрыгивал и вертелся, подпуская его совсем близко, однако в руки не давался, расценив, видимо, все это как часть игры. Молодой стражник-индус подхватил горсть гравия и хотел отогнать пса камнями, но он ловко увернулся и снова бросился к нам. Радостное тьяканье эхом отдавалось в тюремных стенах. Во взгляде осужденного, которого крепко держали двое стражников, читалось прежнее безразличие: будто происходящее было очередной формальностью, неизбежно предшествующей казни. Прошло несколько минут, прежде чем собаку удалось изловить. Тогда мы привязали к ошейнику мой носовой платок и снова двинулись в путь, волоча за собой упиравшееся и жалобно скулившее животное.

До виселицы оставалось ярдов сорок. Я смотрел на смуглую обнаженную спину шагнувшего впереди меня осужденного. Он шел со связанными руками, на вид неуклюжей, но уверенной походкой индусов – не выпрямляя колен. При каждом шаге мышцы идеально точно выполняли свою работу, завиток волос на голове подпрыгивал вверх-вниз, ноги твердо ступали по мокрому гравия. Один раз, несмотря на державших его за плечи людей, он шагнул чуть в сторону, огибая лужу на дороге.

Как ни странно, но до этой минуты я до конца не понимал, что значит убить здорового, находящегося в полном сознании человека.

Когда я увидел, как осужденный делает шаг в сторону, чтобы обойти лужу, я словно прозрел – я осознал, что человек не имеет никакого права обрывать бьющую ключом жизнь другого человека. Осужденный не находился на смертном одре, жизнь его продолжалась, так же как наши. Работали все органы: в желудке переваривалась пища, обновлялся кожный покров, росли ногти, формировались ткани – исправное функционирование организма, теперь уже заведомо бессмысленное. Ногти будут расти и тогда, когда он поднимется на виселицу, и когда рухнет вниз, отделяемый от смерти лишь десятой долей секунды. Глаза все еще смотрели и на желтоватый гравий, и на серые стены, мозг все еще понимал, предвидел, размышлял, даже о лужах. Он и мы вместе составляли единую группу движущихся людей, видящих, слышащих, чувствующих, понимающих один и тот же мир. Но через две минуты резкий хруст возвестит о том, что одного из нас больше нет – станет одним сознанием, одной вселенной меньше.

Виселица находилась в маленьком, заросшем высокими колючками дворике, отделенном от основного двора тюрьмы. Это было кирпичное сооружение наподобие сарая с тремя стенами, с дощатым помостом, над которым возвышались столбы с перекладиной и болтающейся на ней веревкой. Возле механизма стоял палач – седой заключенный, одетый в белую тюремную форму. Когда мы вошли, он рабски согнулся в знак приветствия. По сигналу Фрэнсиса стражники, еще крепче ухватив узника, то ли подвели, то ли подтолкнули его к виселице и неловко помогли ему взобраться по лестнице. Потом наверх поднялся палач и накинуд веревку на его шею.

Мы ждали, остановившись ярдах в пяти. Стражники образовали вокруг виселицы нечто вроде круга. Когда на осужденного набросили петлю, он принялся громко взывать к своему Богу. Визгливо-высокий повторяющийся крик: «Рама! Рама! Рама!», не исполненный, как молитва или вопль о помощи, ни отчаяния, ни ужаса, но мерный, ритмичный, напоминал удары колокола. В ответ жалобно заскулила собака. Стоявший на помосте палач достал маленький хлопчатобумажный мешочек – такие используют для муки – и надел его на голову осужденному. Но приглушенный материей звук все равно был слышен: «Рама! Рама! Рама! Рама! Рама!» Палач спустился вниз и, приготовившись, положил руку на рычаг. Казалось, проходили минуты. Снова и снова, ни на миг не прерываясь, раздавались равномерные крики: «Рама! Рама!

Рама!» Начальник тюрьмы, глядя вниз, медленно водил тростью по земле; возможно, он подсчитывал крики, отпустив осужденному лишь определенное число их – может, пятьдесят, может, сто. Лица у всех изменились. Индусы посерели, как плохой кофе; один или два штыка дрожали. Мы смотрели на стоявшего на помосте связанного человека с мешком на голове, слушали его глухие крики: каждый крик – еще один миг жизни. И все мы чувствовали одно и то же: убейте же его, убейте скорее, сколько можно тянуть, оборвите этот жуткий звук...

Наконец начальник тюрьмы принял решение. Резко подняв голову, он взмахнул тростью. «Чало», – выкрикнул он почти яростно. Раздался лязгающий звук, затем наступила тишина. Осужденный исчез, и только веревка закручивалась будто сама по себе. Я отпустил пса, и он тут же галопом помчался за виселицу, но, добежав, остановился как вкопанный, залаял, а потом отступил в угол двора. И, затаившись между сорняками, испуганно поглядывал на нас. Мы обошли виселицу, чтобы осмотреть тело. Висевший на медленно вращавшейся веревке осужденный носки оттянуты вниз – был, без сомнения, мертв.

Начальник тюрьмы поднял трость и ткнул ею в голое оливковое тело, которое слегка качнулось. «С ним все в порядке», – констатировал начальник тюрьмы. Пятясь, он вышел из-под виселицы и глубоко вздохнул. Мрачное выражение как-то сразу исчезло с его лица. Он бросил взгляд на наручные часы: «Восемь часов восемь минут. На утро, слава Богу, все». Стражники отомкнули штыки и зашагали прочь.

Догадываясь, что вел себя плохо, присмиривший пес незаметно шмыгнул за ними. Мы покинули дворик, где стояла виселица, и, миновав камеры смертников с ожидавшими конца обитателями, вышли в большой центральный двор тюрьмы. Заключенные уже получали завтрак под надзором стражников, вооруженных бамбуковыми палками с железными наконечниками. Узники сидели на корточках, длинными рядами, с жестяными мисками в руках, а два стражника с ведерками ходили между ними и накладывали рис; созерцать эту сцену после казни было приятно и радостно. Теперь, когда дело было сделано, мы испытывали невероятное облегчение. Хотелось петь, бежать, смеяться. Все разом вдруг оживленно заговорили.

Шагавший подле меня молодой метис с многозначительной улыбкой кивнул в ту сторону, откуда мы пришли: «Знаете, сэр, наш общий друг (он имел в виду казненного), узнав, что его апелляцию отклонили, помочился в камере прямо на пол. Со страху. Не хотите ли сигарету, сэр? Мой новый серебряный портсигар, сэр! Недурен, не правда ли? Выложил две рупии и восемь анн. Отличная вещица, в европейском стиле».

Несколько человек смеялись, похоже, сами не зная над чем. Шедший рядом с начальником тюрьмы Фрэнсис без умолку болтал, «Ну, сэр, ффсе прошло так, что и придраться не к чему. Раз – и готово! Соффсем не ффсегда так бывает, нет-нет, сэр! Помню, доктору приходилось лезть под виселицу и дергать повешенного за ноги, чтоб уж наверняка было. Фф высшей степени неприятно!»

«Трепыхался... Уж чего хорошего», – сказал начальник тюрьмы. «Нет, сэр, куда хуже, если они вдруг заупрямятся. Помню, пришли мы за одним в камеру, а он ффцепился фф прутья решетки. Не поверите, сэр: чтобы его оторвать, потребовалось шесть стражников, по трое тянули за каждую ногу. Мы взывали к его разуму. «Дорогой, – говорили мы, подумай, сколько боли и неприятностей ты нам доставляешь». Но он просто не желал слушать! Да, с ним пришлось повозиться!»

Я вдруг понял, что довольно громко смеюсь. Хохотали все. Даже начальник тюрьмы

снисходительно ухмылялся. «Пойдемте-ка выпьем, – радушно предложил он. – У меня в машине есть бутылочка виски. Не помешает».

Через большие двустворчатые ворота тюрьмы мы вышли на дорогу.

«Тянули за ноги!» – внезапно воскликнул судья-бирманец и громко хмыкнул. Мы снова расхохотались. В этот миг рассказ Фрэнсиса показался невероятно смешным. И коренные бирманцы, и европейцы – все мы вполне по-дружески вместе выпили. От мертвеца нас отделяла сотня ярдов.

1931

Как я стрелял в слона

В Моламьяйне – это в Нижней Бирме – я стал объектом ненависти многих людей; с той поры моя персона уже никогда не имела столь важного значения для окружающих. В городе, где я занимал пост окружного полицейского, сильно ощущались резкие антиевропейские настроения, правда, проявлявшиеся как-то бесцельно и мелочно. Выступить открыто не хватало духу, а вот если белой женщине случалось одной пройти по базару, платье ее часто оказывалось забрызганным соком бетели. Как полицейский офицер, я неизбежно становился мишенью для оскорблений, коим и подвергался всякий раз, когда представлялась возможность сделать это безнаказанно. Если на футбольном поле какой-нибудь шустрый бирманец подставлял мне подножку, а судья, тоже бирманец, демонстративно смотрел в противоположную сторону, толпа раздражалась отвратительным хохотом. Такое происходило не один раз. В конце концов эти повсюду встречавшиеся мне насмешливые желтые физиономии молодых парней, эти оскорбления, летевшие вдогонку, когда я уже успевал удалиться на безопасное расстояние, начали изрядно действовать мне на нервы. Но невыносимее всего были молодые буддистские проповедники. В городе их насчитывалось несколько тысяч, и возникало впечатление, что у всех у них было единственное занятие – устроившись на уличных углах, глумиться над европейцами.

Все это смущало и расстраивало меня. Уже тогда я осознал, что империализм есть зло и чем скорее я покончу со службой и распрощаюсь со всем этим, тем лучше. Теоретически и, разумеется, негласно я безоговорочно вставал на сторону бирманцев в их борьбе против угнетателей-англичан.

Что же касается службы, то к ней я питал столь лютую ненависть, что, наверное, даже выразить не смогу. На такой должности вплотную сталкиваешься со всей грязной работой имперской машины. Скорчившиеся бедолаги в клетках вонючих камер предварительного заключения; посеревшие, запуганные лица приговоренных к длительному сроку; шрамы на ягодицах мужчин, подвергшихся избиению бамбуковыми палками, – все это вызывало во мне нестерпимое, гнетущее чувство вины. Мне никак не удавалось расставить все по своим местам. Я был молод, малообразован, в проблемах своих вынужден был разбираться сам, находясь в том полном одиночестве, которым Восток окружает любого англичанина. Я даже не подозревал, что Британская империя умирает, и тем более не ведал, что она все же много лучше, чем молодые, теснящие ее конкуренты. Зато я знал, что мне, с одной стороны, никуда не уйти от ненависти к Британской империи, чьим солдатом я был, а с другой – от ярости, вызываемой во мне этими маленькими злобными зверьками, стремившимися превратить

мою службу в ад.

Британское владычество в Индии представлялось мне незыблемой тиранией, *in saecula saeculorum*[[1 - *in saecula saeculorum* (лат.) – во веки веков.]] подчинившей себе сломленные народы; и тем не менее я бы с величайшей радостью пырнул штыком какого-нибудь буддистского проповедника. Такие чувства естественно возникают как побочный продукт империализма: спросите любого английского чиновника в Индии, если сможете поймать его в неслужебное время.

И вот однажды произошло нечто, косвенным образом прояснившее многое. Внешне то был лишь малозначительный инцидент, но мне он позволил яснее, чем раньше, увидеть сущность империализма, истинные мотивы, движущие деспотичными правительствами. Однажды рано утром, младший полицейский инспектор позвонил мне по телефону из полицейского участка, расположенного на другом конце города, и сообщил, что на базаре бесчинствует слон. Не могу ли я прийти и предпринять что-нибудь? Я не знал, какая от меня может быть польза, но хотелось посмотреть, что там происходит, и, взгромоздившись на пони, я отправился в путь. С собой я прихватил винтовку, старый «винчестер» сорок четвертого калибра – слона из него, конечно, не убьешь, но вдруг пригодится пошуметь *in terrorem*[[2 - *in terrorem* (лат.) – для устрашения.]].

По дороге меня то и дело останавливали и рассказывали, что натворил слон. Это был вовсе не дикий, а домашний слон, у которого просто начался период полового возбуждения – муста. Перед наступлением муста его, как и всех домашних слонов, посадили на цепь, но прошлой ночью он сорвался и сбежал. В таком состоянии со слонем, кроме погонщика, никому не справиться, но тот, пустившись за беглецом, выбрал неверное направление и теперь находился в двенадцати часах хода отсюда; слон же неожиданно утром вновь объявился в городе. Не имевшие оружия бирманцы были перед ним совершенно беззащитны. Слон между тем уже снес чью-то бамбуковую хижину, убил корову и совершил налеты на фруктовые ларьки, поглотив все, что там было; вдобавок ко всему он столкнулся с муниципальным мусорным фургоном, который был им опрокинут и изрядно помят, правда, после того как водитель выскочил и пустился наутек.

В квартале, где видели сбежавшего слона, меня ждал младший инспектор-бирманец и несколько констеблей-индусов. То был нищий квартал, где го крутому склону карабкался вверх лабиринт грязных убогих бамбуковых лачуг, крытых пальмовыми листьями. Помню, утро было пасмурное и душное – самое начало сезона дождей. Мы принялись расспрашивать, куда направился слон, и, как обычно, ничего не могли узнать толком. На Востоке всегда так: издали история представляется впопне ясной, однако чем ближе к месту событий, тем она туманнее. Одни говорили, что слон пошел туда, другие – сюда, третьи уверяли, что и слухом не слыхали ни про какого слона. Я уже совсем было решил, что в этой истории нет ничего, кроме нагромождения лжи, когда где-то совсем рядом раздались пронзительные крики. С рассерженными возгласами: «Пошли отсюда! Пошли вон, немедленно!» – из-за угла появилась старуха с кнутом в руке, прогонявшая стайку голых ребятишек. За ней следовало несколько причитавших и охавших женщин: очевидно, там произошло нечто такое, чего детям видеть не полагалось. Обогнув хижину, я увидел распростертое в грязи тело человека. Это был почти обнаженный индус-дравид. По-видимому, смерть настигла смуглого кули лишь несколько минут назад. Очевидцы говорили, что слон наткнулся на него, огибая лачугу; обхватив жертву хоботом и надавив ногой на спину, он проволока ее по земле. Был сезон дождей, и тело индуса пропахало в размякшей почве канаву в фут глубиной и пару ярдов длиной. Он лежал на животе, раскинув руки, с головой, вывернутой набок. Покрытое слоем грязи лицо, с широко

открытыми глазами и обнажившимися словно в ухмылке зубами выражало нестерпимую муку. (Кстати, не пытайтесь убедить меня, что мертвые выглядят умиротворенными. Почти все трупы, которые мне доводилось видеть, оставляли жуткое впечатление.) Нога огромного животного полностью содрала со спины несчастного кожу – так свежуют кроликов. Увидев труп, я отправил ординарца к своему другу, дом которого находился неподалеку, – за винтовкой, годной для охоты на слона. Еще раньше я отослал пони, поскольку мне совсем не хотелось, чтобы, учуяв слона, он ошалел от испуга и сбросил меня.

Через несколько минут вернулся ординарец с винтовкой и пятью патронами, тут же подоспели несколько бирманцев, сообщивших, что слон пасется внизу на рисовых полях, всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Стоило мне двинуться вперед, как практически все население квартала высыпало на улицу и устремилось за мной. Они заметили винтовку и теперь в радостном возбуждении кричали, что я иду убивать слона. Пока тот опустошал их дома, они не проявляли к нему особого интереса, но теперь слона собирались застрелить, и это было совсем другое дело. Они отнеслись к происходящему как к развлечению – толпа англичан, должно быть, реагировала бы точно так же, – помимо всего прочего, они надеялись на дармовое мясо. От этого мне стало как-то не по себе. В мои намерения вовсе не входило убивать слона – винтовка нужна была мне только для самозащиты, так, на всякий случай; и потом – всегда теряешься, если за тобой наблюдает толпа. Как дурак, коим себя и чувствовал, вышагивал я вниз по склону с винтовкой на плече, а следовавшее за мной по пятам скопище напиравших друг на друга людей непрерывно росло. Внизу, оставляя домики далеко в стороне, пролегалась посыпанная щебнем дорога, за ней на тысячу ярдов в ширину раскинулись болотистые, размокшие от первых дождей, поросшие дикой травой, еще не вспаханные рисовые поля. Слон стоял в восьми ярдах от дороги, повернувшись к нам левым боком. На подступавшую толпу он не обратил ни малейшего внимания. Он выдергивал пучки травы, ударял ими по колену, стряхивая землю, и засовывал в рот.

На дороге я остановился. Увидев слона, я уже внутренне решил, что не должен стрелять в него. Убийство рабочего слона – дело очень серьезное, сравнимое с уничтожением большого дорогостоящего механизма, и совершенно очевидно, что прибегать к этому следует лишь при крайней необходимости. На таком расстоянии мирно пасшийся слон, казалось, представлял не большую опасность, чем корова. Тогда я подумал – и не изменил своего мнения поныне, – что период муста у него уже кончался и поэтому, наверное, он так и будет тихо-мирно бродить, пока подоспевший погонщик не изловит его. Более того, я не испытывал никакого желания убивать животное. Хотелось немного понаблюдать за слоном, убедиться, что он не расщипывает вновь, и отправиться восвояси.

Но в это самое мгновение я обернулся и взглянул на сопровождавшую меня толпу. То была огромная масса людей, по меньшей мере тысячи две, которая с каждой минутой все прибывала. Она далеко, по обе стороны, запрудила дорогу. Передо мной расстилалось море пестрых одежд, на фоне которого явственно выделялись радостные и возбужденные в предвкушении развлечения желтые лица людей, уверенных в неминуемой смерти слона. Они следили за мной, как следили бы за иллюзионистом, готовившимся показать фокус. Они не любили меня, но сейчас, с магической винтовкой в руках, я был объектом, достойным наблюдения. Внезапно я осознал, что рано или поздно слона придется прикончить. От меня этого ждали, и я обязан был это сделать: я почти физически ощущал, как две тысячи воль неудержимо подталкивали меня вперед. Именно тогда, когда я стоял там с винтовкой в руках, мне впервые открылась вся обреченность и бессмысленность владычества белого человека на Востоке. Вот я, европеец, стою с винтовкой перед безоружной толпой

туземцев, как будто бы главное действующее лицо спектакля, фактически же – смехотворная марионетка, дергающаяся по воле смуглолицых людей. Мне открылось тогда, что, становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе, превращается в претенциозную, насквозь фальшивую куклу, в некоего безликого сагиба – европейского господина. Ибо условие его владычества состоит в том, чтобы непрерывно производить впечатление на туземцев и своими действиями в любой критической ситуации оправдывать их ожидания. Постоянно скрытое маской лицо со временем неотвратимо срастается с нею. Я неизбежно должен был застрелить слона. Послав за винтовкой, я приговорил себя к этому. Сагиб обязан вести себя так, как подобает сагибу: он должен быть решительным, точно знать, чего хочет, действовать в соответствии со своей ролью. Прodelать такой путь с винтовкой в руках во главе двухтысячной толпы и, ничего не предприняв, беспомощно заковылять прочь – нет, об этом не может быть и речи. Они станут смеяться. А вся моя жизнь, как и жизнь любого европейца на Востоке, – это борьба за то, чтобы не стать посмешищем.

Мне не хотелось убивать слона. Я смотрел, как он со свойственной слонам добродушной озабоченностью ударяет пучками травы по колену. Казалось, что выпустить в него пулю все равно что совершить гнусное и жестокое человекоубийство. В ту пору я еще не проявлял излишней щепетильности в охоте, но мне никогда не приходилось – да и не хотелось – стрелять в слона (почему-то всегда представляется, что убивать больших животных – хуже). К тому же, нужно было принять во внимание интересы владельца животного. Живой слон стоил по крайней мере сто фунтов, цена мертвого определяется ценой его бивней, то есть, возможно, пятью фунтами. Между тем надо было действовать быстро. Я выбрал опытных на вид бирманцев, пришедших раньше нас, и стал расспрашивать их о поведении слонов. Они повторяли одно и то же: пока к нему не пристаю, он ни на кого не обращает внимания, но, если подойти слишком близко, может напасть.

Я ясно представлял себе, как следовало поступить. Я подойду к слону – ну, скажем, ярдов на двадцать пять – и посмотрю, как он поведет себя. Если бросится на меня, я выстрелю, если не обратит внимания, спокойно оставлю на месте до прибытия хозяина. В то же время я понимал, что ничего подобного не сделаю. Я плохо стреляю из винтовки, земля превратилась в вязкую грязь, в которой нога проваливается при каждом шаге. Если слон бросится на меня, а я промахнусь, шансов на удачу у меня будет не больше, чем у лягушки под дорожным катком. Даже тогда я не особенно тревожился о собственной шкуре, зато ни на миг не забывал о смуглых лицах у меня за спиной. Чувствуя на себе взгляды толпы, я не испытывал страха в обычном смысле слова – какой испытывал бы, будь я один. Европейец не имеет права проявлять признаков страха на глазах у туземцев, поэтому чаще всего он и не боится. Волновала лишь одна мысль: если я оскандалюсь, две тысячи бирманцев позаботятся о том, чтобы меня догнали, изловили и затоптали ногами, превратив, как индуса на холме, в ухмыляющийся труп. Вполне вероятно, что, произойди такое, многие из них будут смеяться. Нет, так дело не пойдет. Оставался только один путь. Я заправил патроны в магазин и лег на дорогу, чтобы лучше прицелиться.

Толпа замерла, и из неисчислимыx глоток вырвался глубокий, низкий, счастливый вздох, как у людей, наконец дождавшихся поднятия занавеса. Значит, все-таки потеха будет. Винтовка была великолепная, немецкая, с оптическим прицелом. Тогда я еще не знал, что, когда стреляешь в слона, нужно целиться в мысленно проведенную между ушными отверстиями линию. Если слон стоял боком, бить следовало прямо в ушное отверстие, я же прицелился на несколько дюймов левее, полагая, что именно там и расположен мозг.

Спустив курок, я не услышал выстрела и не почувствовал отдачи обычное явление, когда пуля попадает в цель, – зато я услышал дьявольский торжествующий рев, взметнувшийся над толпой. И почти тут же – казалось, пуля не могла столь быстро достигнуть цели – со слонем произошла таинственная жуткая перемена. Он не пошевелился, не упал, но изменилась каждая линия его тела. Он вдруг оказался больным, сморщенным, невероятно старым, как будто страшный, хотя и не повалившийся наземь удар пули парализовал его. Прошло, казалось, бесконечно много времени – пожалуй, секунд пять, – прежде чем он грузно осел на колени. Из рта потекла слюна. Слон как-то неимоверно одряхлел. Нетрудно было бы представить, что ему не одна тысяча лет. Я вновь выстрелил в ту же точку. Он не рухнул и после второго выстрела: напротив, с огромным трудом невероятно медленно поднялся и, ослабевший, с безвольно опущенной головой выпрямился на подгибающихся ногах. Я выстрелил в третий раз. Этот выстрел оказался роковым. Все тело слона содрогнулось от нестерпимой боли, ноги лишились последних остатков сил. Падая, он словно приподнялся: подогнувшиеся под тяжестью тела ноги и устремленный ввысь хобот делали слона похожим на опрокидывающуюся громадную скалу с растущим на вершине деревом. Он протрубил – в первый и последний раз. А потом повалился брюхом ко мне, с глухим стуком, от которого содрогнулась вся земля, казалось, даже там, где лежал я.

Я встал. Бирманцы мчались по грязи мимо меня. Было ясно, что слону уже никогда не подняться, но он еще жил. Он дышал очень ритмично, шумно, с трудом вбирая воздух; его огромный, подобный холму бок болезненно вздымался и опускался. Рот был широко открыт, и я мог заглянуть далеко в глубину бледно-розовой пасти. Я долго медлил в ожидании смерти животного, но дыхание не ослабевало. В конце концов я выпустил два оставшихся у меня патрона туда, где, по моим представлениям, находилось сердце. Из раны хлынула густая, как красный бархат, кровь, но слон еще жил. Его тело даже не дрогнуло, когда ударили пули; без остановок продолжалось затрудненное дыхание. Он умирал невероятно мучительно и медленно, существуя в каком-то другом, далеком от меня мире, где даже пуля уже бессильна причинить больший вред. Я почувствовал, что должен оборвать этот ужасающий шум. Смотреть на огромного поверженного, не могущего ни шевельнуться, ни умереть зверя, и сознавать, что ты не в состоянии даже прикончить его, было невыносимо. Мне принесли мою малокалиберную винтовку, и я принялся выпускать пулю за пулей в сердце и в горло. Слон вроде бы и не замечал их. Мучительное шумное дыхание проходило все так же ритмично, напоминая работу часового механизма. Наконец, не в силах больше вынести этого, я ушел. Потом я узнал, что прошло полчаса, прежде чем слон умер. Но еще до моего ухода бирманцы стали приносить корзинки и большие бирманские ножи: рассказывали, что к вечеру от туши не осталось почти ничего, кроме скелета.

Убийство слона стало темой бесконечных споров. Хозяин слона бушевал, но ведь это был всего лишь индус, и сделать он, конечно, ничего не мог. К тому же, юридически я был прав, поскольку разбушевавшийся слон, подобно бешеной собаке, должен быть убит, если владелец почему-либо не в состоянии справиться с ним. Среди европейцев мнения разделились. Люди в возрасте сочли мое поведение правильным, молодые говорили, что чертовски глупо стрелять в слона только потому, что тот убил кули – ведь слон куда ценнее любого чертового кули. Сам я был несказанно рад свершившемуся убийству кули – это означало с юридической точки зрения, что я действовал в рамках закона и имел все основания застрелить животное. Я часто задаюсь вопросом, понял ли кто-нибудь, что мною руководило единственное желание – не оказаться посмешищем.



## Вспоминая войну в Испании

Перевод: А.Зверев

## I

Прежде всего о том, что запомнилось физически, – о звуках, запахах, зримом облике вещей.

Странно, что живее всего, что было потом на испанской войне, я помню неделю так называемой подготовки, перед тем как нас отправили на фронт, – громадные кавалерийские казармы в Барселоне, продуваемые ветрами денники и мощные брусчаткой дворы, ледяная вода из колонки, где мы умывались, мерзкая еда, которую сдабривали ложечки вина, девушки в брюках – служащие милиции, рубившие дрова под котел, переключки ранним утром и комическое впечатление, производимое моей простецкой английской фамилией рядом с звучными именами Мануэль Гонсалес, Педро Агилар, Рамон Фепелос, Роке Баластер, Хайме Доменеи, Себастиан Вильтрон, Рамон Нуво Босх. Называю именно этих людей, потому что помню каждого из них. За исключением двоих, которые были просто подонками и теперь наверняка со рвением служат у фалангистов, все они, вероятно, погибли. О двоих я это знаю точно. Старшему из них было лет двадцать пять, младшему – шестнадцать.

Одно из существенных воспоминаний о войне – повсюду тебя преследуют отвратительные запахи человеческого происхождения. О сортирах слишком много сказано писавшими про войну, и я бы к этому не возвращался, если бы наш казарменный сортир не внес свою лепту в разрушение моих иллюзий насчет гражданской войны в Испании. Принятое в романских странах устройство уборной, когда надо садиться на корточки, отвратительно даже в лучшем своем исполнении, а наше отхожее место сложили из каких-то полированных камней, и было там до того скользко, что приходилось стараться изо всех сил, чтобы устоять на ногах. К тому же оно всегда оказывалось занято. Память сохранила много другого, столь же отталкивающего, но мысль, потом так часто меня изводившая, впервые мелькнула в этом вот сортире: «Мы солдаты революционной армии, мы защищаем демократию от фашистов, мы на войне, на справедливой войне, а нас заставляют терпеть такое скотство и унижение, словно мы в тюрьме, уж не говоря про буржуазные армии». Впоследствии было немало такого, что способствовало подобным мыслям, – скажем, тоска окопной жизни, когда нас мучил зверский голод, склоки да интриги из-за каких-нибудь обидок, затяжные скандалы, которые вспыхивали между людьми, измученными нехваткой сна.

Сам ужас армейского существования (каждый, кто был солдатом, поймет, что я имею в виду, говоря о всегдашнем ужасе этого существования) остается, в общем-то, одним и тем же, на какую бы войну он ни угодил. Дисциплина – она одинакова во всех армиях. Приказы надо выполнять, а невыполняющих наказывают; между офицером и солдатом возможны лишь отношения начальника и подчиненного. Картина войны, возникающая в таких книгах, как «На Западном фронте без перемен», в общем-то, верна. Визжат пули, воняют трупы, люди, очутившись под огнем, часто пугаются настолько, что мочатся в штаны. Конечно, социальная среда, создающая ту или

другую армию, сказывается на методах ее подготовки, на тактике и вообще на эффективности ее действий, а сознание правоты дела, за которое сражается солдат, способно поднять боевой дух, хотя боевитость скорее свойство гражданского населения. (Забывают, что солдат, находящийся где-то поблизости от передовой, обычно слишком голоден и запуган, слишком намерзся, а главное, чересчур изнурен, чтобы думать о политических причинах войны.) Но законы природы неотменимы и для «красной» армии, и для «белой». Вши – это вши, а бомбы – это бомбы, хоть ты и дерешься за самое справедливое дело на свете.

Зачем разъяснять вещи, настолько очевидные? А затем, что и английская, и американская интеллигенция в массе своей явно не представляла их себе и не представляет по-прежнему. У людей короткая память, но оглянитесь чуток назад, полистайте старые номера «Нью массез» или «Дейли уоркер» – на вас обрушится лавина воинственной болтовни, до которой были тогда так охочи наши левые. Сколько там бессмысленных избитых фраз! И какая невообразимая в них тупость! С каким ледяным спокойствием наблюдают из Лондона за бомбежками Мадрида! Я не имею в виду пропагандистов из правого лагеря, всех этих ланнов, гарвинов et hoc genus[[3 - И прочих в том же роде (лат.)]]; о них что и толковать. Но вот люди, которые двадцать лет без передышки твердили, как глупо похвалиться воинской «славой», высмеивали рассказы об ужасах войны, патриотические чувства, даже просто проявления мужества, – вдруг они начинали писать такое, что, если переменить несколько упомянутых ими имен, решишь, что это – из «Дейли мейл» образца 1918 года. Английская интеллигенция если и верила во что безоговорочно, так это в бессмысленность войны, в то, что она – только горы трупов да вонючие сортиры и что она никогда не может привести ни к чему хорошему. Но те, кто в 1933 году презрительно фыркал, услышав, что при определенных обстоятельствах необходимо сражаться за свою страну, в 1937 году начали клеймить троцкистом и фашистом всякого, кто усомнился бы в абсолютной правдивости статей из «Нью массез», описывающих, как раненые, едва их перевязали, рвутся снова в бой. Причем метаморфоза левой интеллигенции, кричавшей, что «война – это ад», а теперь объявившей, что «война – это дело чести», не только не породила чувства несовместимости подобных лозунгов, но и свершилась без промежуточных стадий. Впоследствии левая интеллигенция по большей части столь же резко меняла свою позицию, и не один раз. Видимо, их очень много, и они составляют основной костяк интеллигенции – те, кто в 1935 году поддерживал декларацию «Корона и страна», два года спустя потребовали «твердой линии» в отношениях с Германией, еще через три присоединились к Национальной конвенции, а сейчас настаивают на открытии второго фронта.

Что касается широких масс, их мнения, необычайно быстро меняющиеся в наши дни, их чувства, которые можно регулировать, как струю воды из-под крана, – все это результат гипнотического воздействия радио и телевидения. У интеллигентов подобные метаморфозы, я думаю, скорее вызваны заботами о личном благополучии и просто о физической безопасности. В любую минуту они могут оказаться и «за» войну, и «против» войны, ни в том, ни в другом случае отчетливо не представляя себе, что она такое. С энтузиазмом рассуждая о войне в Испании, они, разумеется, понимали, что на этой войне тоже убивают и что оказаться убитым нерадостно, однако считалось, будто солдат Республиканской армии война почему-то не обрекает на лишения. У республиканцев даже сортиры воняли не так противно, а дисциплина не была настолько суровой. Просмотрите «Нью стейтсмен», чтобы убедиться: именно так и рассуждали; да и теперь о Республиканской армии пишется все тот же вздор. Мы стали слишком цивилизованными, чтобы уразуметь самое очевидное. Меж тем истина совсем проста. Чтобы выжить, надо драться, а когда дерутся, нельзя не перепачкаться грязью. Война – зло, но часто меньшее из зол. Взавшие меч и

погибают от меча, а не взявшие меча гибнут от гнусных болезней. Сам факт, что надо напоминать о таких банальностях, красноречиво говорит, до чего мы дошли за годы паразитического капитализма.

## II

В добавление к сказанному несколько слов о жестокостях. Я мало видел жестокостей на войне в Испании. Знаю, что они иной раз чинились республиканцами и намного чаще (да и сегодня это продолжается) фашистами. Что меня поразило и продолжает поражать – так это привычка судить о жестокостях, веря в них или подвергая их сомнению, согласно политическим предпочтениям судящих. Все готовы поверить в жестокости, творимые врагом, и никто – в творимые армией, которой сочувствуют; факты при этом попросту не принимаются во внимание. Недавно я набросал перечень жестокостей, совершенных с 1918 года до сегодняшнего дня; оказалось, каждый год без исключения где-то совершают жестокости, и трудно припомнить, чтобы хоть раз и левые, и правые приняли на веру свидетельства об одних и тех же бесчинствах. Еще удивительнее, что в любой момент ситуация может круто перемениться, и то, что вчера еще считалось бесспорно доказанным бесчинством, превратится в нелепую клевету лишь оттого, что иным стал политический ландшафт.

Что касается нынешней войны, ситуация необычна, поскольку наша «кампания жестокостей» была проведена еще до первых выстрелов, причем проводили ее главным образом левые, хотя при нормальных условиях они всегда твердили, что не верят в рассказы про всякие бесчинства. Правые же, которые так много шумели о жестокостях, пока шла война 1914–1918 годов, предпочли бесстрастно наблюдать происходившее в нацистской Германии, решительно не замечая в ней никакого зла. Но как только началась война, вчерашние про-нацисты вовсю закричали о чудовищных ужасах, тогда как антифашистами вдруг овладели сомнения, вправду ли существует гестапо. Тут не только результат советско-германского пакта. Частично все это вызвано тем, что до войны левые ошибочно полагали, будто никогда Германия не нападет на Англию, а оттого можно высказываться и в антинемецком, и в антибританском духе; частично тем, что официальная военная пропаганда присущими ей отвратительным лицемерием и самонадеянностью обязательно побудит умного человека проникнуться симпатией к врагу. Цена, которую мы заплатили за систематическую ложь в годы первой мировой войны выразилась и в чрезмерном германофильстве по ее окончании. С 1918 по 1933 год вас освистали бы в любом левом круэдке если бы вы высказались в том духе, что Германия тоже несет хотя бы долю ответственности за войну. Наслушавшись в те годы столько желчных комментариев по поводу Версальского договора, я что-то не вспомню не то что споров, но хотя бы самого вопроса: «А что было бы, если бы победила Германия?» Точно так же обстоит дело с жестокостями. Правда сразу начинает восприниматься как ложь, если исходит от врага. Я заметил, что люди, готовые принять на веру любой рассказ о бесчинствах, творимых японцами в Нанкине в 1937 году, не верили ни слову о бесчинствах, совершаемых в Гонконге в 1942-м. Стараются даже убедить себя, будто нанкинских жестокостей как бы и не было, просто о них теперь разглагольствует английское правительство, чтобы отвлечь внимание публики.

К сожалению, говоря о бесчинствах, сказать придется и вещи, куда более горькие, чем это манипулирование фактами, становящимися материалом для пропаганды. Горько то, что бесчинства действительно имеют место. Скептицизм нередко порождается тем, что одни и те же ужасы приписываются каждой войне, но из этого прежде всего следует подтверждение истинности подобных рассказов.

Конечно, в них воплощаются всякие фантазии, но лишь оттого, что война создает возможность превратить эти небылицы в реальность. Кроме того – теперь говорить это немодно, а значит, надо об этом сказать, – трудно сомневаться в том, что те, кого с допущениями можно назвать «белые», в своих бесчинствах отличаются особой жестокостью, да и бесчинствуют больше, чем «красные». Скажем, относительно того, что творят японцы в Китае, никакие сомнения невозможны. Невозможны они и относительно рассказов о фашистских бесчинствах в Европе, совершаемых вот уже десять лет. Свидетельств накоплено великое множество, причем в значительной части они исходят от немецкой прессы и радио.

Все это действительно было – вот о чем надо было думать. Это было, пусть то же самое утверждает лорд Галифакс. Грабежи и резня в китайских городах, пытки в подвалах гестапо, трупы старых профессоров-евреев, брошенные в выгребную яму, пулеметы, расстреливающие беженцев на испанских дорогах, – все это было, и не меняет дела то обстоятельство, что о таких фактах вдруг вспомнила «Дейли телеграф» – с опозданием в пять лет.

### III

Теперь два запомнившихся мне эпизода; первый из них ни о чем в особенности не говорит, а второй, думаю, до некоторой степени поможет понять атмосферу революционного времени.

Как-то рано утром мы с товарищем отправились в секрет, чтобы вести снайперский огонь по фашистам; дело происходило под Уэской. Их и наши окопы разделяла полоса в триста ярдов – дистанция, слишком большая для наших устаревших винтовок; надо было подползти метров на сто к позициям фашистов, чтобы при удаче кого-нибудь из них подстрелить через щели в бруствере. На наше горе нейтральная полоса проходила через открытое свекольное поле, где негде было укрыться, кроме двух-трех канав; туда надлежало добраться затемно, а возвращаться с рассветом, пока не взошло солнце. В тот раз ни одного фашистского солдата не появилось – мы просидели слишком долго, и нас застала заря. Сами мы сидели в канаве, а сзади – двести ярдов ровной земли, где и кролику не затаиться. Мы собрались с духом, чтобы все же попробовать броском вернуться к своим, как вдруг в фашистских окопах поднялся гвалт и загомонили свистки. Появились наши самолеты. И тут из окопа выскочил солдат, видимо, посланный с донесением командиру; он побежал, поддерживая штаны обеими руками, вдоль бруствера. Он не успел одеться и на бегу подтягивал штаны. Я не стал в него стрелять. Правда, стрелок я неважный и вряд ли со ста ярдов попал бы, да и хотелось мне одного – добежать назад, пока фашисты заняты самолетами. Но при всем том не выстрелил я главным образом из-за того, что у него были спущены штаны. Я ведь ехал сюда убивать «фашистов», а этот, натягивающий штаны, – какой он «фашист», просто парень вроде меня, и как в него выстрелить?!

О чем говорит этот случай? Да ни о чем в особенности, потому что такое все время происходит на любой войне. Второй случай – совсем другое дело. Не уверен, что смогу о нем рассказать так, чтобы вы были тронуты, но, поверьте, на меня он произвел глубочайшее впечатление и дал почувствовать моральный дух того времени.

Еще когда я проходил подготовку, как-то появился у нас в казарме жалкий мальчишка из барселонских трущоб. Он был оборван и бос. Да и кожа у него была совсем темная (видимо, примешалась арабская кровь), и жестикулировал он отчаянно, не как европейцы, – особенно запомнилась мне протяннутая рука с

вертикально поставленной ладонью, чисто по-индейски. Как-то у меня стянули пачку дешевеньких сигар тогда их можно было еще купить. По глупости я доложил об этом офицеру, и один из тех прохвостов, о которых я упоминал, тут же закричал, что у него тоже кое-что пропало – 26 песет. Почему-то офицер сразу решил, что вор – тот темнокожий подросток. В милиции за воровство карали очень сурово, теоретически могли даже расстрелять. Несчастливого парнишку повели в караулку и обыскали, он не сопротивлялся. Всего больше меня поразило, что он почти и не пытался доказать свою невиновность. Фатализм его говорил о том, в какой же отчаянной нужде он вырос. Офицер приказал ему раздеться. Со смирением, внушавшим мне ужас, он снял с себя все до последнего лоскута, тряпки его перетряхнули, Понятно, не нашлось ни сигар, ни монет; он их действительно не крал. Самое печальное было то, что и потом, когда подозрения отпали, он стоял все с тем же выражением стыда на лице. Вечером я пригласил его в кино, угостил коньяком и шоколадом. Впрочем, сама попытка загладить деньгами мой проступок перед ним – разве это не ужасно? Ведь, пусть на минуту, я решил, что он вор, а такое не искупается.

Прошло несколько недель, я уже был на фронте, и у меня начались неприятности с солдатом моего отделения. Я получил звание «капо», то есть капрала, и под моей командой находилось двенадцать человек. На фронте стояло затишье, было чудовищно холодно, и главная моя забота состояла в том, чтобы часовые не засыпали на посту. И вдруг один солдат отказывается идти в караул, утверждая – вполне справедливо, – что позиция, куда его направили, пристреляна противником. Человек он был хилый, вот я и сгреб его в охапку, насильно заставляя выполнить приказ. Остальные тут же прониклись ко мне враждебностью – испанцы, когда их хватают, похоже, взрываются быстрее, чем мы. Меня вмиг окружили с криками: «Фашист! Фашист! Отпусти его! Тут не буржуйская армия, ты, фашист!» и т. д. Насколько позволял моя скверный испанский, я отвечал им, тоже крича во всю глотку, что приказы надо выполнять; начавшись с пустяка, вырос один из тех грандиозных скандалов, которые разваливают всякую дисциплину в Республиканской армии. Кто-то был на моей стороне, другие против меня. Рассказываю я об этом к тому, что горячее всех меня поддерживал тот чумазый паренек. Едва разобравшись что к чему, он пробился поближе ко мне и принялся страстно доказывать мою правоту. Он орал, вытягивая руку по-индейски: «Да вы что, он же у нас самый хороший капрал!» Позднее он подал просьбу перевести его в мое отделение.

Почему это происшествие так меня растрогало? Потому что в обычных обстоятельствах было бы немыслимо, чтобы между нами снова установилась симпатия. Как бы я ни старался извиниться за то, что подозревал его в краже, это его не смягчило бы, а только еще более ожесточило. Спокойная цивилизованная жизнь имеет еще и ту особенность, что развивает крайнюю, чрезмерную тонкость чувств, при которой любые из главнейших человеческих побуждений начинают выглядеть слишком грубыми. Щедрость ранит так же сильно, как черствость, а проявления благодарности неприятны не меньше, чем свидетельства черствости души. Но в Испании 1936 года мы переживали ненормальное время. Широкие чувства и жесты там казались естественнее, чем бывает обычно. Я мог бы рассказать еще десяток похожих историй, которые ничего примечательного в себе не содержат, однако врезались мне в память, потому что в них тот особый воздух времени, когда все ходили в потрепанных костюмах, а со стен сверкали яркие краски революционных плакатов, и друг к другу обращались только словом «товарищ», и можно было за пенни купить на любом углу отпечатанные листовками на прозрачной бумаге антифашистские стихи, а выражения вроде «международной солидарности пролетариата» произносились с пафосом, потому что неграмотные люди, любившие их повторять, верили, что такие фразы что-то означают. Разве можно испытывать к

человеку дружеское расположение и поддержать его в минуту спора, если, заподозрив, что ты у этого человека что-то украл, тебя в его присутствии бесцеремонно обыскивали? Нельзя, конечно, – и все-таки можно, если вас объединило нечто такое, что придает чувствам широту. А это одно из косвенных следствий революции, хотя в данном случае революция осталась незавершенной и, как все понимали, была обречена.

#### IV

Борьба за власть между различными группировками Испанской Республики – тема больная и слишком сложная; я не хочу ее касаться, не пришло еще время. Упоминаю об этом с единственной целью предупредить: не верьте ничему, или почти ничему из того, что пишется про внутренние дела в правительственном лагере. Из каких бы источников ни исходили подобные сведения, они остаются пропагандой, подчиненной Целям той или иной партии, – иначе сказать, ложью. Правда о войне, если говорить широко, достаточно проста. Испанская буржуазия увидела возможность сокрушить рабочее движение и сокрушила его, прибегнув к помощи нацистов, а также реакционеров всего мира. Сомневаюсь, чтобы когда бы то ни было удалось определить суть случившегося более точно.

Помнится, я как-то сказал Артуру Кестлеру: «История в 1936 году остановилась», – и он кивнул, сразу поняв, о чем речь. Оба мы подразумевали тоталитаризм – в целом и особенно в тех частностях, которые характерны для гражданской войны в Испании. Еще смолodu я убедился, что нет события о котором правдиво рассказала бы газета, но лишь в Испании я впервые наблюдал, как газеты умудряются освещать происходящее так, что их описания не имеют к фактам ни малейшего касательства, – было бы даже лучше, если бы они откровенно врал. Я читал о крупных сражениях, хотя на деле не прозвучало ни выстрела, и не находил ни строки о боях, когда погибали сотни людей. Я читал о трусости полков, которые в действительности проявляли отчаянную храбрость, и о героизме победоносных дивизий, которые находились за километры от передовой, а в Лондоне газеты подхватывали все эти вымыслы, и увлекающиеся интеллектуалы выдумывали глубокомысленные теории, основываясь на событиях, каких никогда не было. В общем, я увидел, как историю пишут, исходя не из того, что происходило, а из того, что должно было происходить согласно различным партийным «доктринам». Это было ужасно, хотя, впрочем, в каком-то смысле не имело ни малейшего значения. Ведь дело касалось вовсе не самого главного – речь, в частности, шла о борьбе за власть между Коминтерном и испанскими левыми партиями, а также о стремлениях русского правительства не допустить настоящей революции в Испании. Общая картина, которую рисовали испанские правительственные сообщения, не была лживой. Все главное, что происходило на войне, в этих сообщениях указывалось. Что же касается фашистов с их сторонниками, разве могли они придерживаться такой правды? Разве они бы сказали о своих истинных целях? Их версия событий являлась абсолютным вымыслом и другой при данных обстоятельствах быть не могла.

Единственный пропагандистский трюк, который мог удасться нацистам и фашистам, заключался в том, чтобы изобразить себя христианами и патриотами, спасающими Испанию от диктатуры русских. Чтобы этому поверили, надо было изображать жизнь в контролируемых правительством областях как непрерывную кровавую бойню (взгляните, как пишут «Католик хералд» и «Дейли мейл» – правда, все это кажется детски невинным по сравнению с измышлениями фашистской печати в Европе), а кроме того, до крайности преувеличивать масштабы вмешательства русских. Из всего нагромождения лжи, которая отличала католическую и реакционную прессу, я коснусь

лишь одного пункта – присутствия в Испании русских войск. Об этом трубили все преданные приверженцы Франко, причем говорилось, что численность советских частей чуть ли не полмиллиона. А на самом деле никакой русской армии в Испании не было. Были летчики и другие специалисты-техники, может быть, несколько сот человек, но не было армии. Это могут подтвердить тысячи сражавшихся в Испании иностранцев, не говоря уже о миллионах местных жителей. Но такие свидетельства не значили ровным счетом ничего для франкистских пропагандистов, из которых ни один не побывал на нашей стороне фронта. Зато этим пропагандистам хватало наглости отрицать факт немецкой и итальянской интервенции, хотя итальянские и немецкие газеты открыто воспевали подвиги своих «легионеров». Упоминаю только об этом, но ведь в таком стиле велась вся фашистская военная пропаганда.

Меня пугают подобные вещи, потому что нередко они заставляют думать, что в современном мире вообще исчезло понятие объективной истины. Кто поручится, что подобного рода или сходная ложь в конце концов не проникнет в историю? И как будет восстановлена подлинная история испанской войны? Если Франко удержится у власти, историю будут писать его ставленники, и – раз уж об этом зашла речь – сделается фактом присутствие несуществовавшей русской армии в Испании, и школьники будут этот факт заучивать, когда сменится не одно поколение. Но допустим, что фашизм потерпит поражение и в сравнительно недалеком будущем власть в Испании перейдет в руки демократического правительства – как восстановить историю войны даже при таких условиях? Какие свидетельства сохранит Франко в достояние потомкам? Допустим, что не погибнут архивы с документами, накопленными республиканцами, – все равно, каким образом восстановить настоящую историю войны? Ведь я уже говорил, что республиканцы тоже часто прибегали к лжи. Занимая антифашистскую позицию, можно создать в целом правдивую историю войны, однако это окажется пристрастная история, которой нельзя доверять в любой из самых важных подробностей. Во всяком случае, какую-то историю напишут, а когда уйдут все воевавшие, эта история станет общепринятой. И значит, если смотреть на вещи реально, ложь с неизбежностью приобретает статус правды.

Знаю, распространен взгляд, что всякая принятая история непременно лжет. Готов согласиться, что история большей частью неточна и необъективна, но особая мета нашей эпохи – отказ от самой идеи, что возможна история, которая правдива. В прошлом врал с намерением или подсознательно, пропускали события через призму своих пристрастий или стремились установить истину, хорошо понимая, что при этом не обойтись без многочисленных ошибок, но, во всяком случае, верили, что есть «факты», которые более или менее возможно отыскать. И, действительно, всегда накапливалось достаточно фактов, не оспариваемых почти никем. Откройте Британскую энциклопедию и прочтите в ней о последней войне – вы увидите, что немало материалов позаимствовано из немецких источников. Историк-немец основательно разоидется с английским историком по многим пунктам, и все же останется массив, так сказать, нейтральных фактов, насчет которых никто и не будет полемизировать всерьез. Тоталитаризм уничтожает эту возможность согласия, основывающегося на том, что все люди принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Нацистская доктрина особенно упорно отрицает существование этого вида единства. Скажем, нет просто науки. Есть «немецкая наука», «еврейская наука» и т. д. Все такие рассуждения конечной целью имеют оправдание кошмарного порядка, при котором Вождь или правящая клика определяют не только будущее, но и прошлое. Если Вождь заявляет, что такого-то события «никогда не было», значит, его не было. Если он думает, что дважды два пять, значит, так и есть. Реальность этой перспективы страшит меня больше, чем бомбы, а ведь перспектива не выдумана, коли вспомнить, что нам довелось наблюдать в последние несколько лет.

Не детский ли это страх, не самоистязание ли – мучить себя видениями тоталитарного будущего? Но, прежде чем объявить тоталитарный мир наваждением, которое не может сделаться реальностью, задумайтесь о том, что в 1925 году сегодняшняя жизнь показалась бы наваждением, которое реальностью стать не может. Есть лишь два действенных средства предотвратить фантазмагорию, когда черное завтра объявляют белым, а вчерашнюю погоду изменяют соответственно распоряжению. Первое из них – признание, что истина, как бы ее ни отрицали, тем не менее существует, следит за всеми вашими поступками, поэтому нельзя ее уродовать способами, призванными ослабить ее воздействие. Второе – либеральная традиция, которую можно сохранить, пока на Земле остаются места, не завоеванные ее противниками. Представьте себе, что фашизм или некий гибрид из нескольких разновидностей фашизма воцарился повсюду в мире, – тогда оба эти средства исчезнут. Мы в Англии недооцениваем такую опасность, поскольку своими традициями и былым сознанием защищенности приучены к сентиментальной вере, что в конце концов все устраивается лучшим образом и того, чего более всего страшишься, не происходит. Сотни лет воспитывавшиеся на книгах, где в последней главе непременно торжествует Добро, мы полуинстинктивно верим, что злые силы с ходом времени покарают сами себя. Главным образом на этой вере, в частности, основывается пацифизм. Не противься злу, оно каким-то образом само себя изживет. Но, собственно, почему, какие доказательства, что так и должно произойти? Есть хоть один пример, когда современное промышленно развитое государство рушилось, если по нему не наносился удар военной мощью противника?

Задумайтесь хотя бы о возрождении рабства. Кто мог представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду, – это ведь самое типичное рабство. Ну, разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем – скажем, в том, что касается разъединения семей, – условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях. Нет никаких оснований полагать, что это положение вещей изменится, пока сохраняется тоталитарный гнет. Мы не постигаем всего, что он означает, ибо в силу какой-то мистики проникнуты чувством, что режим, который держится на рабстве, должен рухнуть. Но стоило бы сравнить сроки существования рабовладельческих империй древности и всех современных государств. Цивилизации, построенные на рабстве, иной раз существовали по четыре тысячи лет.

Вспоминая древность, я со страхом думаю о том, что те миллионы рабов, которые веками поддерживали благоденствие античных цивилизаций, не оставили по себе никакой памяти. Мы даже не знаем их имен. Сколько имен рабов можно назвать, перебирая события греческой и римской истории? Я сумел бы привести два, максимум три. Спартак и Эпиктет. Кроме того, в Британском музее, в кабинете римской истории, хранится стеклянный сосуд, на дне которого выгравировано имя сделавшего его мастера: «Felix fecit».

Я живо представляю себе этого бедного Феликса (рыжеволосый галл с металлическим ободком на шее), но на самом деле он, возможно, и не был рабом, так что достоверно мне известно только два имени, и, может быть, лишь немногие другие сумеют назвать больше. Все остальные рабы исчезли бесследно.



Главное сопротивление Франко оказывал испанский рабочий класс, особенно городские профсоюзы. Потенциально – важно помнить, что только потенциально, – рабочий класс остается самым последовательным противником фашизма просто по той причине, что переустройство общества на началах разумности дает рабочему классу всего больше. В отличие от других классов и прослоек пролетариат невозможно все время подкупать.

Сказав это, я не хочу идеализировать рабочих. В той длительной борьбе, которая развернулась после русской революции, поражение понесли именно они, и нельзя не видеть, что повинны в этом они сами. Постоянно то в одной стране, то в другой организованное рабочее движение подавлялось открытым незаконным насилием, а пролетарии других стран, которые по теории должны были испытывать чувство солидарности, наблюдали за этим со стороны, не ударив пальцем о палец; причина – она-то и объясняет многие втайне совершенные предательства – та, что между белыми и цветными рабочими о солидарности никогда и речи не заходило. Кто же поверит в международную классовую сознательность пролетариата после событий последних десяти лет? Английских рабочих куда больше интересовал и будоражил результат вчерашнего футбольного матча, чем расправы над их товарищами в Вене, Берлине, Мадриде и еще где угодно. Но это не изменит моего убеждения, что рабочий класс будет бороться с фашизмом даже после того, как все другие капитулируют. Во Франции немцы победили с такой легкостью еще и оттого, что поразительную нестойкость выказали интеллигенты, включая тех, кто держался левых политических взглядов. Интеллигенты громче всех протестуют против фашизма, но очень многие из них впадают в пораженческие настроения, как только фашизм наносит свой удар. Они слишком хорошо все предвидят, чтобы недооценивать нависшую над ними угрозу, а главное, они поддаются подкупу; нацисты же, совершенно очевидно, считают, что нужно не скупиться на подачки, чтобы купить интеллигенцию. С рабочим классом все наоборот. Не умея распознать обмана, рабочие легко поддаются на приманки фашизма, но рано или поздно обязательно становятся его противниками. По-иному быть не может, оттого что они на собственной шкуре убеждаются в ложности всех фашистских посулов. Чтобы обеспечить себе стойкую поддержку рабочих, фашизм должен был бы повысить общий уровень жизни, а этого он не может, да, видимо, и не добивается. Борьба пролетариата напоминает рост растения. Оно слепо и неразумно, но достаточно инстинкта, чтобы оно тянулось к свету, и, какие бы нескончаемые препятствия ни возникали, оно все равно к нему тянется. За что борются рабочие? Просто за сносную жизнь, которая – это они понимают все лучше – теперь вполне для них возможна. Они осознают это то более отчетливо, то инстинктивно. В Испании было время, когда люди к этому стремились совершенно осознанно, видя перед собой конкретную задачу, которую надо решить, и веря, что они ее решат. Вот откуда свойственный республиканской Испании первых месяцев войны необыкновенный подъем духа. Простой народ безошибочно чувствовал, что Республика ему нужна, а Франко враждебен. Люди сознавали свою правоту, потому что сражались, отстаивая то, что мир обязан и мог им дать.

Об этом надо помнить, чтобы правильно понять испанскую войну. Замечая одни только жестокости, гнусность, бессмысленность войны – а в данном случае еще и казни, интриги, ложь, неразбериху, – трудно удержаться от вывода, что «одни ничуть не хуже других. Я сохраню нейтралитет». Однако на деле нейтральным быть нельзя, и вообще трудно представить себе войну, когда было бы безразлично, кто победит. Почти всегда одна сторона более или менее ясно знаменует прогресс, а другая – реакцию. Ненависть, вызываемая Республикой у миллионеров, аристократов, кардиналов, прожигателей жизни, полковников блимпов и прочей публики такого рода, сама по себе достаточна, чтобы ощутить расстановку сил. По сути, это была

классовая война. Если бы в ней победила Республика, выиграло бы дело простого народа повсюду на Земле. Но победил Франко, и повсюду на Земле держатели прибыльных акций потирали руки. Вот в чем главное, а все прочее – только накипь.

## VI

Исход испанской войны решался в Лондоне, Париже, Риме, Берлине – где угодно, только не в Испании. После лета 1937 года все, кто был способен видеть вперед, поняли, что Республике не победить, если не произойдет глубоких перемен в международной расстановке сил, и, решив продолжить борьбу, Негрин со своим правительством, видимо, отчасти рассчитывали, что мировая война, разразившаяся в 1939 году, начнется годом раньше. Раздоры в лагере Республики, о которых так много писали, не были главной причиной поражения. Созданная правительством милиция собиралась наспех ее плохо вооружили, тактика была примитивной, но ничего бы не переменилось и при условии изначально полного политического единства. Когда вспыхнула война, простой испанский рабочий с фабрики не умел стрелять из винтовки (в Испании никогда не было всеобщей воинской повинности) сильно мешал наладить противодействие традиционный пацифизм левых. Тысячи иностранцев, сражавшихся в Испании, были хороши в окопах, но людей, владеющих какой-нибудь военной специальностью, среди них нашлось очень мало. Утверждение троцкистов, что войну можно было выиграть, если бы не саботировали революцию, вероятно, неверно. Оттого, что были бы национализированы заводы, разрушены церкви и написаны революционные манифесты, армии не прибавилось бы умения. Фашисты победили, поскольку были сильнее; у них было современное оружие, а у Республики – нет. Политическая стратегия изменить тут ничего не могла.

Самое непостижимое в испанской войне – это позиция великих держав. Фактически войну выиграла для Франко немцы и итальянцы, чьи мотивы были совершенно ясны. Труднее осознать мотивы, которыми руководствовались Франция и Англия. Кто в 1936 году не понимал, что, достаточно было Англии оказать испанскому правительству помощь, хотя бы поставив оружия на несколько миллионов фунтов, Франко был бы разгромлен, а по немцам нанесен мощный удар. Не требовалось в то время быть ясновидящим, чтобы предсказать близящуюся войну Англии с Германией; можно было даже с определенностью назвать дату ее начала – через год или два. И тем не менее самым подлым, трусливым и лицемерным способом английские правящие классы отдали Испанию Франко и нацистам. Почему? Самый простой ответ: потому что были профашистски настроены. Это, вне сомнения, так, и все же, когда дело дошло до решительного выбора, они оказались против Германии. По сей день остается очень неясным, какие у них были планы, когда они поддерживали Франко; возможно, никаких конкретных не было. Злонамеренны или просто глупы английские правители – вопрос, на который в наше время ответить крайне сложно, а бывает, что этот вопрос становится чрезвычайно важным. Что же до русских, цели, которые они преследовали в испанской войне, совершенно непостижимы. Может, правы наивные либералы, полагающие, что русские участвовали в войне для того, чтобы, защищая демократию, обуздать нацизм? Но если так, отчего их участие было столь ничтожным по масштабам и зачем они бросили Испанию, когда ее положение стало критическим? Или согласиться с католиками, которые уверяли, что русское вмешательство должно было раздуть в Испании революционный пожар? Но зачем же они сделали все от них зависящее, чтобы подавить испанское революционное движение, защитить частную собственность и предоставить власть не рабочим, а среднему классу? А может быть, правы троцкисты, заявившие, что целью вмешательства было предотвратить революцию в Испании? Тогда проще было вступить в союз с Франко. Понятнее всего их действия становятся, если видеть за этой линией несколько мотивов, противоречащих один

другому. Уверен, со временем выяснится, что внешняя политика Сталина, претендующая выглядеть дьявольски умной, на самом деле представляет собой примитивный оппортунизм. Как бы то ни было, испанская война продемонстрировала, что нацисты имели четкий план действий, а их противники – нет. С профессиональной точки зрения война велась на очень низком уровне, а основная стратегия была предельно простой. Побеждали те, кто был лучше вооружен. Нацисты вместе с итальянцами поставляли оружие своим друзьям-фашистам в Испании, а западные демократы и Россия отказывали в оружии тем, в ком следовало им видеть своих друзей. И поэтому Республика погибла, «изведав все, что ни одну республику не минет».

Трудный вопрос, правильно ли было побуждать испанцев, хотя победить они не могли, драться до последнего, к чему их дружно призывали левые в других странах. Лично я думаю, что правильно, потому что, на мой взгляд, даже чтобы выжить, лучше сражаться и потерпеть поражение, чем капитулировать без борьбы. Пока еще рано говорить об уроках, которыми важна эта война, для того чтобы найти правильную тактику в битве с фашизмом. Оборванные, плохо вооруженные армии Республики продержались два с половиной года – гораздо дольше, чем ожидал противник. Но и сегодня никто не знает, помешала ли фашистам эта затяжка держаться составленного ими графика или, наоборот, отсрочила большую войну, предоставив нацизму лишнее время, когда они доводили до совершенства свою военную машину.

## VII

Думая об испанской войне, я всегда вспоминаю два эпизода. Вот первый: госпиталь в Лериде, печальные голоса солдат из милиции, поющих песню с припевом, который кончался так:

Una resolucio n Luchar hast'al fin![[4 - И наша решимость бороться до конца (исп.)]] Что же, они и боролись до самого конца. Последние полтора года солдаты Республики сидели на самом скудном рационе и обходились почти без сигарет. Даже в середине 1937 года, когда я покинул Испанию, мясо и хлеб исчезли, табак стал редкостью, а кофе и сахар были недостижимой мечтой.

А вот и второе, что запомнилось: итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Я писал о нем на первых страницах своей книги про испанскую войну и здесь не хочу повторяться. Стоит мне мысленно увидеть перед собой – совсем живым! – этого итальянца в засаленном мундире, стоит взглянуть в это суровое, одухотворенное, непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны, утрачивают значение, потому что я точно знаю одно: не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда. Какие бы ни плели политические интриги, какую бы сложную ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей вроде моего итальянца обрести достойную жизнь, которую – они это понимали – от рождения заслуживает каждый. Думать о том, какая судьба ждала этого итальянца, горько, и сразу по нескольким причинам. Поскольку мы встретились в военном городке имени Ленина, он, видимо, принадлежал либо к троцкистам, либо к анархистам, а в наше необыкновенное время таких людей непременно убивают – не гестапо, так ГПУ. Это, конечно, вписывается в общую ситуацию со всеми ее непреходящими проблемами. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран, как воплощение народа – того, который лег в братские

могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных.

Называя имена людей, которые поддерживают фашизм или оказали ему свои услуги, поражаешься, как они несхожи. Что за конгломерат! Назовите мне иную политическую платформу, которая сплотила бы таких приверженцев, как Гитлер, Петен, Монтегю Норман, Павелич, Уильям Рэндолф Херст, Стрейчер, Бухман, Эзра Паунд, Хуан Марч, Кокто, Тиссен, отец Кафлин, муфтий Иерусалимский, Арнольд Ланн, Антонеску, Шпенглер, Биверли Николс, леди Хаустон и Маринетти, побудив их всех сесть в одну лодку! Но на самом деле это несложно объяснить. Все они из тех, кому есть что терять, или мечтатели об иерархическом обществе, которые страшатся самой мысли о мире, где люди станут свободны и равны. За всем крикливым пустословием насчет «безбожной» России и вульгарного «материализма», отличающего пролетариат, скрывается очень простое желание людей с деньгами и привилегиями удержать им принадлежащее. То же самое относится и к разговорам о бессмыслице социальных преобразований, пока им не сопутствует «совершенствование души», которое, на их взгляд, внушает куда больше надежд, чем изменение экономической системы. Петен объясняет крушение Франции тем, что народ «желает наслаждений». Чтобы оценить это высказывание, надо всего лишь сопоставить наслаждения, доступные обычному французскому крестьянину или рабочему, с теми, которым волен предаваться сам Петен. А наглость, с какой все эти политики, священнослужители, литераторы и прочие поучают рабочего-социалиста, коря его за «материализм»! А ведь рабочий требует для себя не более того, что эти проповедники считают жизненно необходимым минимумом. Чтобы в доме была еда, чтобы избавиться от гнетущего страха безработицы, чтобы не сомневаться в будущем детей, чтобы раз в день принять ванну и чтобы постельное белье менялось как полагается, а крыша не протекала и работа не отнимала все время, оставляя хотя бы немного сил, когда прозвучит гудок на ее окончание. Никто из обличающих «материализм» не мыслит без всего этого нормальной жизни. А как легко было бы достичь такого минимума, стремись мы к этой цели хотя бы лет двадцать! Чтобы весь мир добился уровня жизни Англии – для этого не потребовалось бы затрат больше, чем те, каких требует нынешняя война. Я не утверждаю – да и никто не утверждает, – что сама по себе подобная цель достаточна, а остальное решится само собой. Я говорю лишь о том, что с лишениями, с животным трудом должно быть покончено, прежде чем подступиться к большим проблемам, стоящим перед человечеством. Самая сложная из них в наше время создана утратой веры в личное бессмертие, и сделать тут нельзя ничего, пока обычный человек вынужден работать, как скот, и дрожать от страха перед тайной полицией. Как правы рабочие в своем «материализме»! Как они правы, считая, что сначала надо наесться, а потом хлопотать о душе, подразумевая просто порядок действий, а не ценностей! Уразумеем это, и тогда переживаемый нами кошмар хотя бы сделается объяснимым. Все наблюдения, способные сбить с толку, все эти сладкие речи какого-нибудь Петена или Ганди, и необходимость пятнать себя низостью, сражаясь на войне, и двусмысленная роль Англии с ее демократическими лозунгами, а также империей, где трудятся кули, и зловещий ход жизни в Советской России, и жалкий фарс левой политики – все это оказывается несущественным, если видишь главное: борьбу постепенно обретающего сознание народа с собственниками, с их оплачиваемыми лжецами, с их прихлебалами. Вопрос стоит просто. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человеческую жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся? Сам я, может быть, без достаточных оснований верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе, и я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше – скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны

и возможных войн будущего.

Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Через два года после нашей встречи, когда война была явно проиграна, я написал в память о нем стихи.

Солдат-итальянец мне руку пожал  
В караулке, где встретились мы.  
Мои тонкие пальцы в ладони он смял  
Красной, как слой сурьмы.  
Нам бы свидеться с ним никогда не пришлось,  
Если б пушки молчали вокруг.  
Но теперь то, о чем я мечтал, сбылось.  
Потому что нашелся друг.  
Для тебя те слова, от которых тошнит,  
Святые – ты смысл их постиг.  
И знание людей тебя не тяготит,  
Ты усвоил его не из книг.  
Нас битва влекла и пьянила борьба,  
Мы оба ринулись в бой.  
И вот оказалось, что это судьба,  
Но лишь после встречи с тобой.  
Что ж, удачи тебе, итальянец-солдат!  
Но удачи для храбрых нет.  
И не думай, чем люди тебя наградят,  
Пусть душа свой оставит след.  
А где скитаться ей суждено?  
Между призраков и теней,  
Между пульей и ложью – они заодно,  
Между белых и красных огней.  
Ибо где он, Гонсалес Мануэль,  
Агилар где, скажи скорей?  
И где Рамон Фенеллоса теперь?  
Об этом спроси у червей.  
И имя, и дело твое зачеркнут  
До того, как костям истлеть.  
А ложь, что убила тебя, погребут  
Под ложью, чтоб ей не взлететь.  
Но то, что в тебе увидел я,  
Насилием не сломить,  
Чист твой дух, и безгрешна совесть твоя –  
Их бомбами не убить.

1942 г.

Рецензия на «Майн Кампф» Адольфа Гитлера

Перевод с английского: 1988 А. Шишкин

Символичной для нынешнего бурного развития событий стала осуществленная год назад публикация издательством «Херст энд Блэкетт» полного текста «Майн кампф» в

явно прогитлеровском духе. Предисловие переводчика и примечания написаны с очевидной целью приглушить яростный тон книги и представить Гитлера в наиболее благоприятном свете. Ибо в то время Гитлер еще считался порядочным человеком. Он разгромил немецкое рабочее движение, и за это имущие классы были готовы простить ему почти все. Как левые, так и правые свыклись с весьма убогой мыслью, будто национал-социализм – лишь разновидность консерватизма.

Потом вдруг выяснилось, что Гитлер вовсе и не порядочный человек. В результате «Херст энд Блэкетт» переиздало книгу в новой обложке, объяснив это тем, что доходы пойдут в пользу Красного Креста. Однако, зная содержание книги «Майн кампф», трудно поверить, что взгляды и цели Гитлера серьезно изменились. Когда сравниваешь его высказывания, сделанные год назад и пятнадцатью годами раньше, поражает косность интеллекта, статика взгляда на мир. Это – застывшая мысль маньяка, которая почти не реагирует на те или иные изменения в расстановке политических сил. Возможно, в сознании Гитлера советско-германский пакт не более чем отсрочка. По плану, изложенному в «Майн кампф», сначала должна быть разгромлена Россия, а потом уже, видимо, Англия. Теперь, как выясняется, Англия будет первой, ибо из двух стран Россия оказалась сговорчивей. Но когда с Англией будет покончено, придет черед России – так, без сомнения, представляется Гитлеру. Произойдет ли это на самом деле – уже, конечно, другой вопрос.

Предположим, что программа Гитлера будет осуществлена. Он намечает, спустя сто лет, создание нерушимого государства, где двести пятьдесят миллионов немцев будут иметь достаточно «жизненного пространства» (то есть простирающегося до Афганистана или соседних земель); это будет чудовищная, безмозглая империя, роль которой, в сущности, сведется лишь к подготовке молодых парней к войне и бесперебойной поставке свежего пушечного мяса. Как же случилось, что он сумел сделать всеобщим достоянием свой жуткий замысел? Легче всего сказать, что на каком-то этапе своей карьеры он получил финансовую поддержку крупных промышленников, видевших в нем фигуру, способную сокрушить социалистов и коммунистов. Они, однако, не поддержали бы его, если бы к тому моменту своими идеями он не заразил многих и не вызвал к жизни целое движение. Правда, ситуация в Германии с ее семью миллионами безработных была явно благоприятной для демагогов. Но Гитлер не победил бы своих многочисленных соперников, если бы не обладал магнетизмом, что чувствуется даже в грубом слого «Майн кампф» и что явно ошеломляет, когда слышишь его речи. Я готов публично заявить, что никогда не был способен испытывать неприязнь к Гитлеру. С тех пор как он пришел к власти, – до этого я, как и почти все, заблуждался, не принимая его всерьез, – я понял, что, конечно, убил бы его, если бы получил такую возможность, но лично к нему вражды не испытываю. В нем явно есть нечто глубоко привлекательное. Это заметно и при взгляде на его фотографии, и я особенно рекомендую фотографию, открывающую издание «Херста энд Блэкетта», на которой Гитлер запечатлен в более ранние годы чернорубашечником. У него трагическое, несчастное, как у собаки, выражение лица, лицо человека, страдающего от невыносимых несправедливостей. Это, лишь более мужественное, выражение лица распятого Христа, столь часто встречающееся на картинах, и почти наверняка Гитлер таким себя и видит. Об исконной, сугубо личной причине его обиды на мир можно лишь гадать, но в любом случае обида налицо. Он мученик, жертва, Прометей, прикованный к скале, идущий на смерть герой, который бьется одной рукой в последнем неравном бою. Если бы ему надо было убить мышь, он сумел бы создать впечатление, что это дракон. Чувствуется, что, подобно Наполеону, он бросает вызов судьбе, обречен на поражение, и все же почему-то достоин победы. Притягательность такого образа, конечно, велика, об этом свидетельствует добрая половина фильмов на подобную тему.

Он также постиг лживость гедонистического отношения к жизни. Со времен последней войны почти все западные интеллектуалы и, конечно, все «прогрессивные» основывались на молчаливом признании того, что люди только об одном и мечтают – жить спокойно, безопасно и не знать боли. При таком взгляде на жизнь нет места, например, для патриотизма и военных доблестей. Социалист огорчается, застав своих детей за игрой в солдатики, но он никогда не сможет придумать, чем же заменить оловянных солдатиков; оловянные пацифисты явно не подойдут. Гитлер, лучше других постигший это своим мрачным умом, знает, что людям нужны не только комфорт, безопасность, короткий рабочий день, гигиена, контроль рождаемости и вообще здравый смысл; они также хотят, иногда по крайней мере, борьбы и самопожертвования, не говоря уже о барабанах, флагах и парадных изъявлениях преданности. Фашизм и нацизм, какими бы они ни были в экономическом плане, психологически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая концепция жизни. То же самое, видимо, относится и к сталинскому казарменному варианту социализма. Все три великих диктатора упрочили свою власть, возложив непомерные тяготы на свои народы. В то время как социализм и даже капитализм, хотя и не так щедро, сулят людям: «У вас будет хорошая жизнь», Гитлер сказал им: «Я предлагаю вам борьбу, опасность и смерть»; и в результате вся нация бросилась к его ногам. Возможно, потом они устанут от всего этого и их настроение изменится, как случилось в конце прошлой войны. После нескольких лет бойни и голода «Наибольшее счастье для наибольшего числа людей» – подходящий лозунг, но сейчас популярнее «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Коль скоро мы вступили в борьбу с человеком, провозгласившим подобное, нам нельзя недооценивать эмоциональную силу такого призыва.

1940 г.

Толстой и Шекспир

(пер. Злобина Г.П.)

Перевод с английского: 1988 Злобин Георгий Павлович

[[5 - Бессмысленность приложения к искусству моральных и эстетических догм и связанная с этим критика идей Толстого (одного из любимых писателей автора статьи) более обстоятельно развита Оруэллом через шесть лет в эссе «Лир, Толстой и шут» (CE, II, P. 331-348). (Комментарии и примечания: В. А. Чаликова)]]

На прошлой неделе я говорил о том[[6 - ...на прошлой неделе я говорил... – Оруэлл ссылается на свое выступление на Би-би-си 30 апреля 1941 г. «Границы искусства и пропаганды» (CE, II, P. 149-153).]], как трудно, почти невозможно отделить друг от друга искусство и пропаганду, и о том, что к «чисто» художественной оценке непременно примешиваются соображения, рожденные моральными, политическими или религиозными привязанностями. Во времена бедствий, такие, как десять последних лет, эти глубокие, порой неосознанные привязанности так или иначе наталкивают на конкретные сознательные поступки. Критики теперь все чаще занимают определенную позицию, едва-едва сохраняя видимость беспристрастности. Однако отсюда не следует делать вывод, будто вообще не существует такого явления, как художественная оценка, и что любое произведение искусства – это просто-напросто политический трактат, который и надо оценивать

соответственно. Если мы будем рассуждать таким образом, то зайдем в тупик и не сумеем объяснить многие крупные и очевидные факты искусства. В качестве иллюстрации я предлагаю рассмотреть один из величайших в истории образцов моральной, неэстетической, точнее сказать, антиэстетической критики – статью Толстого о Шекспире[[7 - Статья Толстого о Шекспире... – Статья «О Шекспире и драме» написана в 1903 г., перв. публ. в газете «Русское слово», издана брошюрой в 1907 г. (см.: Поли. собр. соч., Т. 35, М., 1950, С. 216-272). Начав писать предисловие к статье американского поэта и общественного деятеля Э. Кроссби «Шекспир и рабочий класс». Толстой глубоко увлекся темой. «Мне нужно было высказать то, что сидело во мне полстолетия» (письмо к В. В. Стасову 9 октября 1903 г. – Поли. собр. соч., Т. 74, С. 202). Известны и высокие оценки Толстым Шекспира, правда устные, записанные С. А. Толстой, А. Б. Гольденвейзером, московским артистом Т. Н. Селивановым.]]].

Толстой написал ее на склоне лет и подверг Шекспира жесточайшей критике. Он хотел показать, что Шекспир – отнюдь не великий писатель, каким его считают, а, напротив, совсем никудышный сочинитель, один из самых недостойных и отвратительных сочинителей в мире. Статья вызвала взрыв негодования, однако, насколько мне известно, никто не сумел сколько-нибудь убедительно ответить Толстому. Больше того, я попытаюсь доказать, что на статью в целом вообще невозможно ответить. Кое-какие утверждения Толстого, строго говоря, верны, другие являются преимущественно делом вкуса, а о вкусах не спорят. Я вовсе не хочу сказать, что в статье нет ни единого пункта, по которому можно было бы выставить возражения. Местами Толстой просто противоречит сам себе; многое в текстах он понял неправильно, поскольку не проник в чужой язык; кроме того, мне кажется, есть основания говорить, что сильная неприязнь Толстого к Шекспиру, ревностное желание развенчать писателя толкнули его на некоторые передержки или, во всяком случае, побудили его намеренно закрывать глаза на очевидные вещи. Однако все это не имеет прямого отношения к существу дела. То, что написал Толстой, в основе своей и по-своему правомерно, и его высказывания внесли полезную поправку в слепое преклонение перед Шекспиром, которое было модно в то время. Какие бы доводы ни приводить, лучший ответ Толстому не в них, а в том, что вынужден сказать он сам.

Толстой утверждает, что Шекспир – ничтожный и пошлый писатель, что у него нет ни собственной философии, ни стоящих мыслей, нет интереса к общественным и религиозным проблемам, нет изображения характеров и естественности положений, что мирозерцание у него самое суетное, безнравственное, циничное – если вообще правомерно предполагать у него определенное и серьезное отношение к жизни. Он обвиняет Шекспира в том, что тот составлял свои драмы кое-как, несколько не заботясь о правдоподобию, вводил в них немыслимые фантазии и невероятные события, заставлял своих героев говорить вычурным, ненатуральным языком, каким никогда не говорили живые люди. Он обвиняет Шекспира в том, что его пьесы – заимствованные, внешним образом, мозаично склеенные из монологов, баллад, дебатов, низменных шуток и прочего, и что автор не дал себе труда задуматься, насколько они уместны по ходу действия. Он обвиняет его в том, что он принимал как должное господство сильных и социальную несправедливость, которые царили в его время. Словом, Толстой считает Шекспира неряшливым писателем и сомнительным в нравственном отношении человеком и, главное, обвиняет его в том, что он не мыслитель.

Многие из этих обвинений вполне опровержимы. Неверно утверждение, будто Шекспир безнравственный писатель – в том понимании, которым пользуется Толстой. Совершенно очевидно, у Шекспира есть свой моральный кодекс, это видно во всех



его сочинениях – другое дело, что он отличается от толстовского. Шекспир больший моралист, чем, например, Чосер или Боккаччо. И он вовсе не глупец, каким его пытается выставить Толстой. Время от времени, можно сказать, как бы между прочим у него встречаешь такие прозрения, которые выходят далеко за пределы его времени. В этой связи хочется привлечь внимание к разбору «Тимона Афинского» Карлом Марксом [[8 - ...к разбору «Тимона Афинского» К. Марксом... – Трагедию Шекспира К. Маркс анализировал в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. Госполитиздат, 1956, с. 616-620), а также в «Немецкой идеологии» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 3, С. 217-220). Маркс высоко оценивал способность Шекспира проникать в скрытую суть социальных отношений, понимание им реальной роли богатства, денег и их соотношения с личностью.]] – тот в отличие от Толстого восхищался Шекспиром. Однако повторю сказанное: в целом Толстой прав. Шекспир – отнюдь не мыслитель, и историки литературы, уверяющие, что Шекспир был одним из величайших философов в мире, порют вздор. Его идеи представляют собой мешанину из всякой всячины. Как и у большинства англичан, у него есть свой свод правил поведения, но никакой стройной философии и вообще способности к философствованию». Верно и то, что он не заботится о правдоподобию и логике характеров. Известно, что он безбожно заимствовал сюжеты у других писателей и переиначивал на свой лад, нередко привнося в них бессмыслицу и нелепости, которых не было в оригинале. Когда Шекспиру попадался верный, не запутанный сюжет, как, например, в «Макбете», характеры его достаточно логичны, но в большинстве случаев их поступки по обычным меркам совершенно невероятны. Во многих его пьесах нет даже той доли правдоподобия, которая должна присутствовать в сказках. Да он и сам не принимал свою драматургию всерьез, во всяком случае, мы не располагаем такими свидетельствами, и видел в ней только средство к существованию. В сонетах он нигде не говорит о пьесах, как будто и не писал их, и лишь однажды довольно стыдливо упоминает, что был актером. В этом отношении позиция Толстого оправданна. Заявления, будто Шекспир был глубоким мыслителем, развивающим оригинальную и стройную философию в безукоризненных с технической стороны и полных тонких психологических наблюдений пьесах, просто смехотворны.

Однако что доказал этим Толстой, чего он добился? Он, очевидно, полагал, что его сокрушительная критика должна уничтожить Шекспира. Как только он напишет статью или, во всяком случае, как только она дойдет до широких кругов читающей публики, звезда Шекспира должна закатиться. Поклонники Шекспира увидят, что их кумир повержен, поймут, что король гол и пора перестать восторгаться им. Ничего этого не произошло. Шекспир повержен и тем не менее высится как ни в чем не бывало. Его отнюдь не забыли благодаря толстовской критике – напротив, сама эта критика сегодня почти совершенно забыта. Толстого много читают в Англии, но вот оба перевода его статьи давно не переиздавались. Мне пришлось обегать пол-Лондона, прежде чем я раскопал ее в одной библиотеке.

Таким образом, получается, что Толстой объяснил нам в Шекспире почти все, за исключением одного-единственного обстоятельства: его небывалой популярности. Он и сам отдает себе в этом отчет и крайне удивлен фактом популярности Шекспира. Я уже сказал выше, что самое лучшее возражение Толстому заключено в том, что вынужден сказать он сам. Толстой задается вопросом: как объяснить это всеобщее преклонение перед автором ничтожных, пошлых и безнравственных произведений? Разгадку Толстой усматривает в существовании некоего международного заговора с целью скрыть правду или же в массовом наваждении, как он выражается – в гипнозе, которому поддались все, кроме него. Вину за этот заговор или наваждение Толстой приписывает группе немецких эстетических критиков начала девятнадцатого века. Это они начали распространять гнусную ложь, будто Шекспир – великий писатель, и

с тех пор ни у кого не хватило мужества дать им отпор.

Впрочем, не будем тратить времени на подобные теории. Все это несусветная чепуха. Подавляющее большинство людей, получающих удовольствие от шекспировских спектаклей, ни прямо, ни косвенно не испытывали влияния каких-то немецких критиков. Шекспир очень популярен, и его популярность не ограничивается начитанной публикой, а захватывает и обыкновенных людей. Шекспировские пьесы при жизни писателя занимали по постановкам первое место в Англии и занимают первое место сейчас. Шекспира хорошо знают не только в англоязычных странах, но и в большинстве других стран Европы и во многих частях Азии. Я сейчас говорю с вами, и почти в это самое время Советское правительство проводит торжества, посвященные триста двадцать пятой годовщине смерти Шекспира, а на Цейлоне мне однажды довелось побывать на шекспировском спектакле – он игрался на языке, о котором я слыхом не слыхивал. Значит, в Шекспире есть что-то бесспорное, великое, неподвластное времени, то, что сумели оценить миллионы простых людей и не сумел оценить Толстой. Шекспир будет жить, несмотря на то что он не оригинальный мыслитель и его пьесы неправдоподобны. Такими обвинениями не развенчать Шекспира – так же как гневной проповедью не погубить распутившийся цветок.

Случай со статьей Толстого, по-моему, добавляет кое-что важное к тому, о чем я говорил на прошлой неделе, а именно о границах искусства и пропаганды. Он показывает односторонность критики, занятой только материалом и смыслом произведения. Толстой разбирает не Шекспира-художника, а Шекспира – мыслителя и проповедника и при таком подходе легко ниспровергает его. Однако толстовская критика не достигает цели, Шекспир оказался неуязвим. И его известность, и наслаждение, которое мы получаем от его пьес, нисколько не пострадали. Очевидно, художник – это выше, чем мыслитель и моралист, хотя он должен быть и тем и другим. Всякая литература дает непосредственный пропагандистский эффект, но только тот роман, или пьеса, или стихотворение не канет в вечность, в котором заключено нечто помимо мысли и морали, то есть искусство. При определенных условиях неглубокие мысли и сомнительная мораль могут быть хорошим искусством. И если уж такой гигант, как Толстой, не сумел доказать обратное, то вряд ли кто еще докажет это.

1941 г.

Толстой и Шекспир

(пер. Шульгат А.)

Перевод с английского: 2001 Анна Шульгат

На прошлой неделе я говорил, что искусство и пропаганда едва ли делимы, и даже суждения, которые кажутся чисто эстетическими, как правило, не свободны от этических, политических или религиозных пристрастий. В трудные времена, какими оказались последние десять лет, когда мыслящий человек не мог игнорировать происходящее или занимать нейтральную позицию, эти ключевые пристрастия поднимаются на поверхность сознания. Критика становится все более субъективной, порой ей трудно соблюдать даже видимость беспристрастности. Из этого вовсе не

следует, что эстетических суждений как таковых не существует, а любое произведение искусства – всего лишь политический памфлет, который можно оценивать только с этой точки зрения. Рассуждая таким образом, мы рискуем зайти в тупик, и нам покажутся необъяснимыми некоторые значимые и очевидные вещи. В качестве примера я хочу проанализировать один из величайших образцов этической, вне-эстетической, можно сказать, анти-эстетической – критики: очерк Толстого о Шекспире.

В конце своей жизни Толстой подверг Шекспира чудовищным нападкам. Он задумал показать, что Шекспир – не только не тот великий человек, каким его считают, но самый посредственный, бездарный писатель из всех, кого знал мир. В свое время очерк вызвал бурю негодования, но я не уверен, был ли на него аргументированный ответ. Я бы сказал, что, по сути дела, на него и невозможно ответить. Порой суждения Толстого абсолютно справедливы, порой – слишком субъективны, чтобы о них спорить. Но это не значит, что ни одно из них не требует ответа. Толстой неоднократно противоречит сам себе. Он многое понимает неправильно, поскольку имеет дело с иностранным языком, и я почти не сомневаюсь в том, что, завидуя Шекспиру и ненавидя его. Толстой прибегает к некоторой фальсификации или, по крайней мере, умышленно закрывает на многое глаза. Но это замечание не по существу. Частичным оправданием Толстому может служить то, что он, вероятно, боролся с модным в то время бездумным низкопоклонством перед Шекспиром. Ответом на этот выпад станут не столько мои слова, сколько некоторые суждения, которые проскальзывают у самого Толстого.

Толстой утверждает, что Шекспир – банальный, неглубокий писатель, у которого нет внятных философских взглядов, мыслей и идей, достойных упоминания; его не интересуют социальные и религиозные вопросы, он не чувствует характеров и правды жизни; если у него и есть сколько-нибудь определенная позиция, то она цинична, безнравственна и суетна. Толстой обвиняет Шекспира в том, что тот стряпал пьесы на скорую руку, ни на грош не заботясь о правдоподобию, изобретал небылицы и невероятные истории, заставлял своих героев говорить витиеватым искусственным языком, не имеющим ни малейшего отношения к реальной жизни. По мнению писателя, драматург набивал свои пьесы чем попало: монологами, кусками баллад, спорами, грубыми шутками и тому подобным, не задумываясь над тем, связаны ли они с сюжетом, а кроме того, принимал как должное социальную несправедливость и политическую безнравственность своей эпохи. Короче говоря. Толстой обвиняет Шекспира в том, что тот пишет торопливо и небрежно, к тому же он человек сомнительной морали и не мыслитель.

Конечно, многое из сказанного можно опровергнуть. Несправедливо обвинять Шекспира в аморальности, как это делает Толстой. Этические убеждения писателей могут не совпадать, но у Шекспира, безусловно, есть свой этический кодекс, который прослеживается во всем его творчестве. Шекспир в гораздо большей степени моралист, нежели, скажем, Чосер или Боккаччо. И он, конечно же, не такой глупец, каким его пытается представить Толстой. Кстати, порой драматург обнаруживает видение, намного опережающее его время. В этой связи я хотел бы вспомнить то, что Карл Маркс, в отличие от Толстого восхищавшийся Шекспиром, писал о «Тимоне Афинском». И тем не менее, в целом Толстой прав. Шекспир не мыслитель, и те критики, которые объявляют его одним из величайших философов мира, говорят чепуху. В мыслях Шекспира царит беспорядок, там полно всякой всячины. У него, как у большинства англичан, есть кодекс поведения, но нет ни мировоззрения, ни философского дара. Действительно, Шекспир мало заботится о правдоподобию и не дает себе труда обосновать характеры и поведение героев. Как известно, он нередко воровал чужие сюжеты и наскоро делал из них пьесы, часто насыщая текст

нелепостями и несообразностями, которых не было в оригинале. Время от времени, когда ему попадает крепкий сюжет, – такой, как, к примеру, история Макбета – его персонажи действуют вполне последовательно, но зачастую их поступки – с общепринятых позиций – не имеют никакого объяснения. Многие пьесы лишены даже той степени достоверности, которая присуща сказкам. В любом случае, у нас нет доказательств того, что сам драматург принимал свои сочинения всерьез, а не относился к ним только как к источнику заработка. В сонетах он никогда не причисляет пьесы к своим литературным удачам и только один раз смущенно упоминает о том, что был актером. Объявлять Шекспира глубоким мыслителем, который воплотил связную философскую систему в своих пьесах, технически совершенных и полных тонких психологических наблюдений, нелепо.

И чего же достиг Толстой? Казалось бы, столь яростная атака должна была уничтожить Шекспира, и Толстой явно убежден, что это ему удалось. С момента появления очерка и уж, во всяком случае, с тех пор, как он стал широко известен, репутация Шекспира должна была пошатнуться. Любителям его творчества надлежало понять, что их идол повержен и развенчан, и они должны были потерять всякий вкус к его творчеству. Этого не произошло. Развенчанный Шекспир почему-то устоял. Нападки Толстого не ввергли драматурга в забвение – о них самих уже мало кто помнит. Хотя Толстой и популярен в Англии, ни один из двух переводов этого очерка не переиздавался, и мне пришлось обшарить весь Лондон, прежде чем я обнаружил один экземпляр в Британском музее.

Таким образом, хотя Толстой находит объяснение почти всему в творчестве Шекспира, все-таки есть одна вещь, которую он объяснить не в силах, – популярность драматурга. И это заводит Толстого в тупик. Надо сказать, он и сам это осознает. Как я уже говорил, ответ Толстому содержится в его же собственных высказываниях. Он спрашивает себя, как могло получиться, что этот плохой, глупый и безнравственный писатель Шекспир вызывает всеобщее восхищение<sup>^</sup>, в конце концов, объясняет это всемирным заговором против истины. Или коллективной галлюцинацией, как он говорит, гипнозом, которому подвержены все, кроме самого Толстого. Истоки этого заговора или гипноза – в «махинациях» некоторых немецких критиков начала XIX века. Это они заведомо лгали, утверждая, что Шекспир – хороший писатель, и с тех пор никто не набрался мужества возразить им. Сегодня эту идею Толстого едва ли примут всерьез. Это – сущая бессмыслица. Абсолютное большинство тех, кто с удовольствием смотрит постановки Шекспира, едва ли находятся под влиянием немецких критиков. Популярность Шекспира – вещь вполне реальная, его творчество ценят обычные, вовсе не книжные люди. Еще при жизни он стал любимцем английской публики, теперь его знают не только в Англии, но и в большинстве стран Европы и даже в Азии. Вот примеры, подтверждающие мои слова: советское правительство отмечает 325-летие со дня смерти драматурга, а на Цейлоне я однажды видел его пьесу, сыгранную на неизвестном мне языке. Следовательно, есть в творчестве Шекспира нечто хорошее, долговечное, что ценят миллионы простых людей, тогда как Толстой этого оценить не сумел. Шекспир переживет обвинения в том, что он противоречивый мыслитель и автор неправдоподобных пьес. Разоблачать его таким способом – все равно, что проповедью пытаться уничтожить цветок.

Мне кажется, я смог кое-что добавить к сказанному мною на прошлой неделе о границах искусства и пропаганды. Мы видим, насколько ограничена любая критика, которая исходит только из тем и идей. Толстой критикует Шекспира не как поэта, но как мыслителя и учителя, и эта задача не так уж сложна. Однако он бьет мимо цели: Шекспир от этого нимало не пострадал. Его репутация и удовольствие, которое нам доставляет его творчество, остаются неизменными. Очевидно, поэт –

это нечто большее, чем мыслитель и учитель, хотя и эти стороны дарования должны быть ему присущи. Во всяком произведении есть элемент пропаганды, и все-таки в каждой книге или пьесе, в каждом стихотворении должно присутствовать нечто неуловимое, недостижимое для морали и идеологии, – это мы и называем искусством. В некоторых обстоятельствах дурная мысль и скверная мораль могут быть хорошей литературой. Если такой великий человек, как Толстой, не смог убедить нас в обратном, сомневаюсь, что это удастся кому-то другому.

1941 г.

Привилегия Духовных Пастырей: Заметки о Сальвадоре Дали

Перевод с английского: Мисюченко Владимир Фёдорович

[[9 - Привилегия Духовных Пастырей То есть неподсудность светскому суду. В Англии до начала девятнадцатого века такую привилегию имело духовенство.]]

Автобиографии можно верить лишь тогда, когда она обнаруживает что-либо постыдное. Человек, изображающий себя положительным, возможно, лжет, ибо, если смотреть на любую жизнь изнутри, она предстанет просто как сплошная череда поражений. Впрочем, и в самой вопиюще бесчестной книге (примером служат автобиографические писания Фрэнка Харриса), порой независимо от воли автора, рисуется куда более правдивый его портрет. Как раз из таких и недавно опубликованная «Жизнь» [[10 - «Тайная жизнь Сальвадора Дали» (Дайэл-пресс, Нью-Йорк)]] Дали. Одни события в ней совершенно неправдоподобны, другие – перекомпонованы или окрашены романтическим цветом, а унижительность и извечная обыденность повседневного бытия выброшены. Самообожание – таков диагноз, поставленный Дали самому себе, его автобиография – всего-навсего акт стриптиза, исполненный в розовом свете рампы. Но книга эта имеет громадную ценность как документальное описание фантазии, извращения природных инстинктов, что стало возможным благодаря машинному веку.

Вот несколько эпизодов – с самых ранних лет – из жизни Дали. Что тут правда, а что выдумка, вряд ли имеет значение: суть в том, что именно это Дали хотел бы совершить.

Ему было шесть лет, когда многих волновало появление кометы Галлея:

Неожиданно в дверях гостиной появился служащий из конторы моего отца и объявил, что комету можно увидеть с террасы... Пробегая через залу, я заметил трехлетнюю сестренку, которая тихонько переползала через дверной проем. Я остановился, секунду поколебался, потом сильно пнул ее по голове, словно по мячу, и побежал дальше, охваченный «исступленной радостью» от этой дикой выходки. Но шедший следом отец схватил меня и препроводил вниз, в контору, где и оставил в наказание до обеда.

Годом раньше Дали «неожиданно, как и почти все, что приходит мне в голову»,

столкнул другого малыша с подвесного моста. В книге перечислено еще несколько похожих случаев, включая и такой: автор, которому в то время уже двадцать девять лет, повалил и принялся топтать ногами девушку, «пока ее, окровавленную, не оттащили от меня подальше».

А когда Сальвадору было пять лет, ему в руки попадает раненая летучая мышь, которую он сажает в жестяное ведро. На следующее утро он обнаруживает, что летучая мышь почти издохла и густо облеплена пожирающими ее муравьями. Он засовывает ее, с муравьями и прочим, в рот и чуть ли не перекусывает ее пополам.

В юного Дали отчаянно влюбляется девушка. Он целует и ласкает ее, чтобы возбудить как можно сильнее, но отказывается от дальнейшего. Он принимает решение использовать подобную тактику пять лет (он называет это своим «пятилетним планом») и упивается унижением девушки и ощущением власти над ней, которую такая ситуация дает ему. Он часто говорит девушке, что по прошествии пяти лет бросит ее, и, когда приходит время, поступает именно так.

До весьма зрелого возраста Дали продолжает мастурбировать и, по-видимому, любит заниматься этим перед зеркалом. Лет до тридцати, судя по всему, в обычном смысле он – импотент. Когда он в первый раз встречается свою будущую жену, Галу, его очень тянет сбросить ее с обрыва. Он чувствует, что Гала хочет, чтобы он что-то сделал с ней, и после их первого поцелуя следует исповедь:

Я схватил Галу за волосы, запрокинул ей голову и, истерически дрожа, скомандовал:

– Теперь говори, что ты хочешь, чтобы я с тобой сделал! Но говори медленно, глядя мне в глаза, и говори самыми грубыми, самыми непристойно эротическими словами, чтобы обоих нас обожгла величайшим стыдом!

... В глазах Галы последний блик испытываемого ею удовольствия сменился жестким светом обретенного господства, и она ответила:

– Хочу, чтобы ты убил меня!

Дали разочарован: ведь это как раз то, что он сам собирался проделать. Он прикидывает – не сбросить ли ее с колокольни собора в Толедо, но воздерживается от этой затеи.

Во время гражданской войны в Испании он хитро лавирует, не принимая ничьей стороны, и отправляется путешествовать в Италию. Он чувствует все большую и большую тягу к аристократии, становится завсегдатаем изысканных салонов, находит состоятельных покровителей, фотографируется с дородным виконтом де Нуайлем, которого описывает как своего «мецената». С приближением войны в Европе Дали озабочен лишь одним: как подыскать местечко с приличной кухней, откуда, если опасность подберется слишком близко, можно будет быстро удрать. Выбор падает на Бордо, откуда во время битвы за Францию он, естественно, бежит в Испанию. Он проводит в Испании ровно столько времени, сколько необходимо, чтобы услышать несколько историй о «зверствах красных», и перебирается в Америку. Повествование заканчивается в блеске респектабельности: в 37 лет Дали стал преданным мужем, излечился от пороков или, по крайней мере, от некоторых из них, и вернулся в

лоно католической церкви. И как можно догадаться, к тому же зарабатывает очень много денег.

Тем не менее он отнюдь не перестает гордиться полотнами своего сюрреалистического периода с такими, например, названиями: «Великий мастурбатор», «Содомия черепа с роялем» и т. п. Их репродукциями заполнена вся книга. Многие из рисунков Дали просто иллюстративны, и у них есть особенность, о которой я скажу позже. В сюрреалистических же картинах и фотографиях выделяются две вещи: сексуальная извращенность и некрофилия. Вновь и вновь Дали обращается к сексуальным объектам и символам. Некоторые из них, вроде нашей старой приятельницы туфли на высоком каблуке, хорошо известны; другие, вроде раздвоенных подпорок и чашки теплого молока, запатентованы самим Дали. Можно отметить и довольно ясно выраженный экскреторный мотив. На картине «Le Jeu Zigubre», пишет он, «кальсоны, заляпанные экскрементами, выписаны с таким тщанием и реалистическим самодовольством, что вся группка сюрреалистов терзалась вопросом: «Он копрофаг или нет?». Дали твердо заявляет: нет, добавляет, что считает такое отклонение «отвратительным», однако, по-видимому, лишь после этого случая у него пропадает интерес к экскрементам. Даже вспоминая, как он наблюдал за женщиной, справлявшей маленькую нужду стоя, он не обходится без детали; она промахнулась и перепачкала туфли. Никому не дано быть вместилищем всех пороков, и Дали хвастается, что он не гомосексуалист, но в остальном набор извращений у него так богат, что кто угодно мог бы позавидовать.

И все же самая заметная черта – его некрофилия. В ней он признается открыто, утверждая, что уже исцелился от нее. Мертвые лица, черепа, трупы животных очень часто попадают на его полотнах, а муравьи, некогда пожирившие умирающую летучую мышь, появляются вновь и вновь бесчисленное число раз. На одной из фотографий запечатлен эксгумированный труп, весьма и весьма разложившийся. На другой – дохлые ослы, разлагающиеся на крышках роялей. Это кадр из сюрреалистического фильма «Le Chien Andalou». Дали и поныне с восторгом вспоминает тех ослов;

Гниющих ослов я «гримировал» с помощью липкого клея, которым обливал их из огромных банок. Еще я выдавил им глаза и, поработав ножницами, увеличил глазницы. Тем же манером я расплосовал им пасти, чтобы лучше выделялись ряды зубов; в каждую пасть я добавил несколько челюстей, чтобы походило, будто ослы, уже разлагаясь, все еще выbleвывают немного собственной смерти поверх других челюстей, образуемых клавишами черных роялей.

И наконец, полотно (по виду некая псевдофотография) «Манекен, гниющий в такси»: по уже несколько вздувшемуся лицу и груди явно мертвой девушки ползают громадные улитки. В подписи под картиной Дали отмечает, что улитки изображены бургундские, то есть съедобные.

Конечно, в пространной книге ин-кварти на 400 страницах сказано больше, чем я отразил, но не думаю, чтобы я неверно передал ее моральную атмосферу и умонастроение. От этой книги дурно пахнет. Если бы книга могла физически издавать зловоние, то уж со страниц этой книги понесло бы воню. Впрочем, такая мысль могла бы порадовать Дали, который, собираясь на первое свидание со своей будущей женой, натерся мазью, приготовленной из козьего помета, сваренного в рыбьем клее. Всему этому, однако, следует противопоставить тот факт, что Дали –

рисовальщик исключительного дарования. И, судя по тщательности и уверенности его рисунка, он к тому же и большой труженик. Да, эксгибиционист и карьерист, но не обманщик. Он в пятьдесят раз талантливее большинства людей, порицающих его мораль и косо глядящих на его картины. И две эти группы фактов, взятые вместе, порождают вопрос, который из-за отсутствия какой бы то ни было общей основы редко обсуждается всерьез.

Дело в том, что мы сталкиваемся здесь с прямой, неприкрытой атакой на благоразумие и благопристойность, более того – на саму жизнь, поскольку некоторые из полотен Дали способны отравить воображение не хуже порнографических открыток. Можно спорить о том, что Дали совершил и что – вообразил, но ни в его взглядах, ни в его натуре нет даже самых минимальных человеческих приличий. Он так же антисоциален, как и блоха. Понятно, что такие люди нежелательны, а общество, в котором они могут процветать, имеет какие-то изъяны.

Так вот, если показать эту книгу и ее иллюстрации лорду Элтону, мистеру Альфреду Нойесу или авторам передовиц в «Тайме», которые так ликуют по поводу «заката интеллектуализма», вообще говоря, любому «здравомыслящему», ненавидящему искусство англичанину, то легко представить, какой реакции дожدهшься. Они наотрез откажутся увидеть у Дали какие бы то ни было достоинства. Такие люди не только не в силах признать, что морально упадническое может быть эстетически здоровым, они требуют, чтобы каждый художник похлопывал их по плечу и говорил, что мыслить вовсе не обязательно. И они могут стать особенно опасными в такое время, как сегодня, когда министерство информации и Британский совет дают им в руки власть. Ибо движет ими не только стремление сокрушить в зародыше любой талант, но и желание оскотить прошлое. Приглядитесь к возобновившейся травле интеллектуалов в нашей стране и в Америке, ее гневный пафос направлен не только против Джойса, Пруста и Лоуренса, но и даже против Т. С. Элиота.

Если же вы разговоритесь с человеком, способным увидеть достоинства Дали, то и он среагирует, как правило, не многим лучше. Попробуйте сказать: хотя Дали и блестящий рисовальщик, но он грязный, мелкий негодяй, – и на вас посмотрят как на дикаря. Попробуйте сказать, что вам не нравятся гниющие трупы и что люди, которым гниющие трупы и вправду нравятся, психически больны, – в ответ выскажут предположение, что вам недостает эстетического чутья. Раз в «Манекене, гниющем в такси» удачна композиция (а это несомненно так), скажут вам, эта картина не может быть ни упаднической, ни омерзительной; а Нойес, Элтон и компания примутся утверждать, что, поскольку картина омерзительная, в ней не может быть хорошей композиции. И между двумя этими софизмами середины нет, точнее, срединная позиция имеется, но о ней редко говорят. На одном полюсе – культурбольшевизм, на другом (хотя само выражение и вышло из моды) – «искусство для искусства». Непристойность – очень сложная тема для честного обсуждения. Люди чересчур страшатся либо показаться шокированными, либо показаться нешокированными, чтобы быть способными определять соотношение между искусством и моралью.

И мы увидим, что защитники Дали требуют для себя чего-то вроде привилегии духовных пастырей. Художник должен быть свободен от нравственных норм, которые связывают простых людей. Стоит произнести волшебное слово «искусство» – и все в порядке. Гниющие трупы с ползающими по ним улитками – нормально; пинать головку маленькой девочки – нормально; даже фильм типа «L'Age d'Or» – нормально. [11 - Дали упоминает «L'Age d'Or», сообщая, что первый публичный просмотр был сорван хулиганами, но подробно о фильме не рассказывает. По воспоминаниям Генри Миллера, в фильме среди прочего есть довольно подробные кадры испражняющейся женщины.] ] Нормально и то, что Дали годами нагуливает жир за счет Франции, а



потом, как крыса, трусливо бежит, едва над Францией нависла опасность. Коль скоро вы умеете писать маслом достаточно хорошо, чтобы выдержать тест, все вам будет прощено.

Фальшь подобных рассуждений можно почувствовать, приложив их к сокрытию обыкновенного преступления. В век, подобный нашему, когда художник во всем – человек исключительный, ему должна отпущаться определенная толика безответственности, как и беременной женщине. И все же по сию пору никому в голову не приходило даровать беременной женщине разрешение на убийство, никто не станет требовать того же и для художника, сколь бы одарен он ни был. Вернись завтра на землю Шекспир и обнаружься, что его любимое развлечение в свободное время – насиловать маленьких девочек в железнодорожных вагонах, мы не должны говорить ему, чтобы он продолжал в том же духе только потому, что он способен написать еще одного «Короля Лира». И в конце концов, наихудшие из преступлений не всегда те, за которые наказывают. Возбуждение некрофильных грез может нанести едва ли не столько же вреда, как и очищение чужих карманов во время скачек. Нужна способность держать в голове одновременно оба факта: и тот, что Дали хороший рисовальщик, и тот, что он отвратительный человек. Одно не обесценивает в определенном смысле и не затрагивает другого. От стены мы прежде всего требуем, чтобы она стояла. Коли стоит – хорошая стена, а какой цели она служит – это уже отдельный вопрос. Но даже лучшую в мире стену следует снести, если она опоясывает концентрационный лагерь. И точно так же мы должны иметь возможность сказать: «Это – хорошая книга (или хорошая картина), но ее следует отдать на публичное сожжение палачу». Кто хотя бы мысленно не в силах произнести этого, умаляет значение того факта, что художник – это еще и гражданин и человеческое существо.

Дело, разумеется, не в том, что автобиографию Дали или его полотна следовало бы запретить. Если не считать грязных открыток, некогда продававшихся в портовых городах Средиземноморья, политика запретов сомнительна в отношении чего бы то ни было; фантазии же Дали, возможно, проливают полезный свет на разложение капиталистической цивилизации. Зато в чем он явно нуждается, так это в диагнозе. Вопрос не столько в том, что он такое, как в том, почему он таков. Нет оснований сомневаться, что он – больной ум, вероятно не совсем исцеленный приписываемым ему религиозным обращением: истинно раскаявшиеся или вернувшиеся на стезю благоразумия не щеголяют своими былыми пороками с таким самодовольством. Он – симптом мировой болезни. Мало толку охаивать его как грубияна и хама, по ком кнут плачет, или стоять за него стеной, как за гения, могущего быть безответственным за свои поступки, важно понять, почему он выставляет напоказ именно такой набор порочных aberrаций.

Ответ, видимо, можно найти в его картинах, но лично я их оценивать не берусь, не компетентен. Могу лишь указать на ключ, который, не исключено, поможет продвинуться в поисках. Это – старомодный, свехвителиеватый стиль рисунка, характерный для эпохи короля Эдуарда, – к нему Дали тяготеет, когда он не сюрреалист. Некоторые рисунки Дали напоминают Дюрера, в одном ощутимо влияние Бэдсли, другой кажется позаимствованным у Блэйка. Доминирует, однако, влияние эдвардианского стиля. Когда, впервые раскрыв книгу, я разглядывал бесчисленные иллюстрации на полях, то никак не мог отогнать ощущения их сходства с чем-то, чего я не мог определить сразу. Остановился на орнаментальном подсвечнике в начале первой части. Что он мне напомнил? Наконец-то напал на след. Напомнил он большое, вульгарное, богато оформленное издание Анатоля Франса (в переводе), которое вышло, должно быть, около 1914 года. Орнаментальные заставки в начале и в конце глав там такого же стиля. На одном конце подсвечника Дали изображено

изогнутое рыбоподобное существо, вид которого удивительно знаком (по всей вероятности, его «прототип» – обычный дельфин), на другом конце – горящая свеча. Эта свеча, что переходит из картины в картину, – очень старый приятель. Вы отыщете ее, с теми же живописными капельками воска по бокам, в электроламповых подделках под подсвечники, которые так популярны в псевдотюдорианских провинциальных гостиницах. И свеча и узор под ней сразу же навевают острое чувство сентиментальности. Словно в противовес этому, Дали разбрызгал по всей странице столько чернил, сколько набралось на перо, но напрасно: те же самые впечатления вызывает страница за страницей. Узор внизу одной из них, например, почти подошел бы Питеру Пэну. [[12 - Имя героя пьесы Джеймса Барри (1904) стало нарицательным – так в Англии зовут несколько инфантильного человека, сохранившего детскую непосредственность и живое воображение, – Примеч. переводчика]] Фигура на другой, несмотря на громадный, вытянутый, как сосиска, череп, – это ведьма из книги сказок. Лошадь на одной странице и единорог на другой могли бы быть иллюстрациями к Джеймсу Бранчу Кэбеллу. Рисунки довольно женственных юношей на некоторых страницах производят то же впечатление. Живописность все время распадается. Уберите черепа, муравьев, морских раков, телефоны и прочие атрибуты – и вы опять и опять возвращаетесь в мир Барри, Ракхэма, Дансани и сказок «Где кончается радуга».

Любопытно, что некоторые шаловливые штрихи автобиографии Дали связаны с тем же периодом. Читая процитированный мною вначале пассаж о пинке в голову сестренки, я ощутил, что и это что-то явно напоминает. Что же? Ну конечно же! «Безжалостные стихи для бессердечных домов» Гарри Грэма. Такие стихи были очень популярны году в 1912-м. Например:

Наш маленький Вилли рыдает так громко,  
Бедняжка, он так огорчен,  
Сломал он всего-то лишь шею сестренке –  
И сладкого к чаю лишен.

Эти стихи могли быть навеяны историей, рассказанной Дали. Разумеется, Дали знает о своих эдвардианских склонностях и извлекает из этого капитал более или менее в духе стилизации. Он проповедует особую любовь к 1900 году, утверждает, что любой орнаментальный объект 1900 года полон таинства, поэзии, эротизма, безумства, извращенности и т. д. Однако стилизация предполагает глубокую привязанность к тому, что пародируешь. По-видимому, если и не всегда, то, во всяком случае, очень часто интеллектуальный выбор сопровождается иррациональным, даже ребяческим, стремлением идти в том же направлении. Скульптора, например, интересуют плоскости и изгибы, но ему также нравится просто возиться с глиной и камнем. Инженер – это человек, наслаждающийся прикосновениями к инструментам, шумом моторов, запахом масла. Психиатр обычно сам склонен к сексуальным отклонениям. Дарвин стал биологом отчасти потому, что жил в деревне и любил животных. Поэтому вполне возможно, что вроде бы извращенный культ вещей эпохи Эдуарда у Дали (например, его «открытие» входов в подземку 1900 года) просто симптом гораздо более глубокой, менее осознанной им привязанности. Бесчисленные, превосходно выполненные копии иллюстраций в учебниках, напыщенно названные *le rosignol*, *une montre* и т. п., щедро разбросанные на полях, быть может, отчасти просто шутки. Карапуз в бриджах, играющий с дьяволом, – совершенный образчик эпохи. Но возможно, эти вещи попали в книгу потому, что Дали попросту не в силах не рисовать их, ибо на самом деле он принадлежит той эпохе и тому стилю.

Если так, то его aberrации частично объяснимы. Вероятно, они – способ уверить самого себя в том, что он не заурядность. Двумя качествами Дали обладает бесспорно – даром к рисованию и чудовищным эгоизмом. «В семь лет, – пишет он в первом абзаце своей книги, – я хотел быть Наполеоном. С тех пор амбиции мои росли неуклонно». Фраза построена так, чтобы поразить, но, несомненно, в сущности это – правда. Подобные чувства не редкость. «Я знал, что я гений, – сказал мне однажды кто-то, – задолго до того, как я понял, в чем мой гений проявится». Представьте себе теперь, что у вас нет ничего, кроме собственного эгоизма и ловкости, простирающейся не выше локтя, представьте, что истинный ваш дар – скрупулезный, академический, иллюстративный стиль рисования, а ваш подлинный удел – быть иллюстратором учебников. Как же в этом случае стать Наполеоном?

Выход всегда один: впасть в порок. Всегда делать такие вещи, которые шокируют и ранят людей. В пять лет сбросить малыша с моста, хлестнуть старого доктора плеткой по лицу и разбить ему очки – или, во всяком случае, мечтать о таких подвигах. Двадцатью годами позже – вырезать парой ножниц глаза у дохлого осла. Идя таким путем, всегда будешь чувствовать себя оригинальным. И потом, это приносит деньги! И это не так опасно, как совершать преступления. В автобиографии Дали, возможно, есть купюры. Сделаем скидку на это, но все равно ясно, что за свои эксцентричные выходки ему не приходилось страдать, как то могло быть в прошлом. Он вырос в развращенном мире двадцатых годов нашего столетия, когда фальсификация была явлением повсеместным, а любая европейская столица кишела аристократами и рантье, которые, забросив спорт и политику, взялись покровительствовать искусству. Швырнешь в людей дохлым ослом – они в ответ станут швырять деньгами. Фобия к кузнечикам – несколько десятилетий до того она вызывала бы лишь хихиканье – стала теперь интересным «комплексом», который можно было выгодно эксплуатировать. Когда же этот особый мир рухнул перед германской армией – раскрыла объятия Америка. Вам оставалось только увенчать все это религиозным обращением и без тени раскаяния одним прыжком перемахнуть из модных салонов Парижа на лоно Авраамово.

Вот вкратце суть жизни Дали. Но почему его aberrации именно такие, почему так легко «продавать» ужасы вроде гниющих трупов просвещенной публике? Вопросы эти – для психолога и критика-социолога. Марксистская критика легко разделяется с такими явлениями, как сюрреализм. Это «буржуазный декаданс» (далее идет игра фразами «трупный яд», «разлагающийся класс рантье») – и все тут. Но хотя это, возможно, и устанавливает факт, но не определяет связи. Все равно хочется узнать, почему Дали склонен к некрофилии (а скажем, не к гомосексуализму), почему рантье и аристократы раскупают его полотна вместо того, чтобы охотиться и предаваться любви, как то делали их деды. Простое моральное неприятие не позволит двинуться дальше. С другой стороны, нельзя во имя «беспристрастности» делать вид, будто картины типа «Манекена, гниющего в такси» нравственно нейтральны. Это больные и омерзительные картины, и любое исследование должно отталкиваться от этого факта.

1944 г.

Рецензия на «Мы» Е. И. Замятина

Перевод с английского: 1988 А. Шишкин

[[13 - Второй раз Оруэлл написал о Замятине в январе 1947 г., когда был анонсирован английский перевод «Мы» (он не состоялся; «Мы» вышло в английском переводе в США в 1925 г., а в Англии – только в 1969 г.) У. Стейнхофф считает, что Оруэлл прочитал «Мы» на французском языке («Nous Autres») между июнем 1944 г. и осенью 1945 г., т. е. после возникновения замысла «1984» – см. комментарий к роману – (Steinhoff W. Op. cit., p. 226). В 1948 г. в письме к Глебу Струве Оруэлл сообщает, что собирается написать статью о Замятине для «Литературного приложения» к «Таймс» и разыскивает его вдову в связи с планом публикации других книг Замятина (неосуществленным) (СЕ, IV, 417). В марте 1949 г. Оруэлл пишет Ф. Уорбургу: «Это возмутительно, что книга такой удивительной судьбы и такого огромного значения не выходит к читателю» (СЕ, IV, 486). Таким образом Оруэлл (в отличие от О. Хаксли) всячески пропагандировал книгу, оказавшую столь сильное и явное влияние на его роман. Уже в этой рецензии определяется главный вызов Оруэлла Замятину (и Хаксли) – неприятие схемы будущего государства, которое компенсирует отнятую у граждан свободу покоем и благополучием. Скорее, по Оруэллу, за несвободой последуют лишения и террор. Комментарии и примечания: В. А. Чаликова]]

В мои руки наконец-то попала книга Замятина «Мы», о существовании которой я слышал еще несколько лет тому назад и которая представляет собой любопытный литературный феномен нашего книгоисследовательского века. Из книги Глеба Струве [[14 - Из книги Глеба Струве... – В письме от 17.II.1944 г. Оруэлл благодарит Струве за присылку этой книги. В этом же письме он пишет: «Вы меня заинтересовали романом «Мы», о котором я раньше не слышал. Такого рода книги меня очень интересуют, и я даже делаю наброски для подобной книги, которую раньше или позже напишу» (СЕ, III, 95). Интересно, что в этом же письме Оруэлл сообщил Струве и о замысле «Скотного двора» (без названия) и выразил опасение, что из-за политической конъюнктуры у него будут трудности с публикацией.]] «Двадцать пять лет советской русской литературы» я узнал следующее.

Замятин, умерший в Париже в 1937 году, был русский писатель и критик, он опубликовал ряд книг как до, так и после революции. «Мы» написаны около 1923 года, и, хотя речь там вовсе не о России и нет прямой связи с современной политикой – это фантастическая картина жизни в двадцать шестом веке нашей эры, – сочинение было запрещено к публикации по причинам идеологического характера. Копия рукописи попала за рубеж, и роман был издан в переводах на английский, французский и чешский, но так и не появился на русском. Английский перевод был издан в США, но я не сумел достать его; но французский перевод (под названием «Nous Autres») мне наконец удалось заполучить. Насколько я могу судить, это не первоклассная книга, но, конечно, весьма необычная, и удивительно, что ни один английский издатель не проявил достаточно предприимчивости, чтобы перепечатать ее.

Первое, что бросается в глаза при чтении «Мы», – факт, я думаю, до сих пор не замеченный, – что роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», видимо, отчасти обязан своим появлением этой книге. Оба произведения рассказывают о бунте природного человеческого духа против рационального, механизированного, бесчувственного мира, в обоих произведениях действие перенесено на шестьсот лет вперед. Атмосфера обеих книг схожа, и изображается, грубо говоря, один и тот же тип общества, хотя у Хаксли не так явно ощущается политический подтекст и заметнее влияние новейших биологических и психологических теорий.

В романе Замятина в двадцать шестом веке жители Утопии настолько утратили свою индивидуальность, что различаются по номерам. Живут они в стеклянных домах (это написано еще до изобретения телевидения), что позволяет политической полиции, именуемой «Хранители», без труда надзирать за ними. Все носят одинаковую униформу и обычно друг к другу обращаются либо как «номер такой-то», либо «юнифа» (униформа). Питаются искусственной пищей и в час отдыха маршируют по четверо в ряд под звуки гимна Единого Государства, льющиеся из репродукторов. В положенный перерыв им позволено на час (известный как «сексуальный час») опустить шторы своих стеклянных жилищ. Брак, конечно, упразднен, но сексуальная жизнь не представляется вовсе уж беспорядочной. Для любовных утех каждый имеет нечто вроде чековой книжки с розовыми билетами, и партнер, с которым проведен один из назначенных сексчасов, подписывает корешок талона. Во главе Единого Государства стоит некто, именуемый Благодетелем, которого ежегодно переизбирают всем населением, как правило, единогласно. Руководящий принцип Государства состоит в том, что счастье и свобода несовместимы. Человек был счастлив в саду Эдема, но в безрассудстве своем потребовал свободы и был изгнан в пустыню. Ныне Единое Государство вновь даровало ему счастье, лишив свободы.

Итак, сходство с романом «О дивный новый мир» разительное. И хотя книга Замятина не так удачно построена – у нее довольно вялый и отрывочный сюжет, слишком сложный, чтобы изложить его кратко, – она заключает в себе политический смысл, отсутствующий в романе Хаксли. У Хаксли проблема «человеческой природы» отчасти решена, ибо считается, что с помощью дородового лечения, наркотиков и гипнотического внушения развитию человеческого организма можно придать любую желаемую форму физического и умственного развития. Первоклассный научный работник выводится так же легко, как и полуидиот касты Эпсилон, и в обоих случаях остатки примитивных инстинктов вроде материнского чувства или жажды свободы легко устраняются. Однако остается непонятной причина столь изощренного разделения изображаемого общества на касты. Это не экономическая эксплуатация, но и не стремление запугать и подавить. Тут не существует ни голода, ни жестокости, ни каких-либо лишений. У верхов нет серьезных причин оставаться на вершине власти, и, хотя в бессмысленности каждый обрел счастье, жизнь стала настолько пустой, что трудно поверить, будто такое общество могло бы существовать.

Книга Замятина в целом по духу ближе нашему сегодняшнему дню. Вопреки воспитанию и бдительности Хранителей многие древние человеческие инстинкты продолжают действовать. Рассказчик, Д-503, талантливый инженер, но, в сущности, заурядная личность вроде утопического Билли Брауна из города Лондона, живет в постоянном страхе, ощущая себя в плену атавистических желаний. Он влюбляется (а это, конечно, преступление) в некую I-330, члена подпольного движения сопротивления, которой удастся на время втянуть его в подготовку мятежа. Вспыхивает мятеж, и выясняется, что у Благодетеля много противников; эти люди не только замышляют государственный переворот, но и за спущенными шторами предаются таким чудовищным грехам, как сигареты и алкоголь. В конечном счете Д-503 удастся избежать последствий своего-безрассудного шага. Власти объявляют, что причина недавних беспорядков установлена: оказывается, ряд людей страдают от болезни, именуемой фантазия. Организован специальный нервный центр по борьбе с фантазией, и болезнь излечивается рентгеновским облучением. Д-503 подвергается операции, после чего ему легко совершить то, что он всегда считал своим долгом, то есть выдать сообщников полиции. В полном спокойствии наблюдает он, как пытаются I-330 под стеклянным колпаком, откачивая из-под него воздух. «Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее

вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза – и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля».

Машина Благодетеля – это гильотина. В замятинской Утопии казни – дело привычное. Они совершаются публично, в присутствии Благодетеля и сопровождаются чтением хвалебных од в исполнении официальных поэтов. Гильотина – конечно, уже не грубая махина былых времен, а усовершенствованный аппарат, буквально в мгновение уничтожающий жертву, от которой остается облако пара и лужа чистой воды. Казнь, по сути, является принесением в жертву человека, и этот ритуал пронизан мрачным духом рабовладельческих цивилизаций Древнего мира. Именно это интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма – жертвенности, жестокости как самоцели, обожания Вождя, наделенного божественными чертами, – ставит книгу Замятина выше книги Хаксли.

Легко понять, почему она была запрещена. Следующий разговор (я даю его в сокращении) между Д-503 и I-330 был бы вполне достаточным поводом для цензора схватиться за синий карандаш:

- Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, – это революция?
- Да, революция! Почему же это нелепо?
- Нелепо – потому что революции не может быть. Потому что наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...
- Милый мой, ты – математик. Так вот, назови мне последнее число.
- То есть?.. Какое последнее?
- Ну, последнее, верхнее, самое большое.
- Но, I, это же нелепо. Раз число чисел бесконечно, какое же ты хочешь последнее?
- А какую же ты хочешь последнюю революцию?

Встречаются и другие пассажи в том же духе. Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. Он писал еще при жизни Ленина и не мог иметь в виду сталинскую диктатуру, а условия в России в 1923 году были явно не такие, чтобы кто-то взбунтовался, считая, что жизнь становится слишком спокойной и благоустроенной. Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация. Я не читал других его книг, но знаю от Глеба Струве, что он прожил несколько лет в Англии и создал острые сатиры на английскую жизнь. Роман «Мы» явно свидетельствует, что автор определенно тяготел к примитивизму. Арестованный царским правительством в 1906 году, он и в 1922-м, при большевиках, оказался в том же тюремном коридоре той же тюрьмы, поэтому у него не было оснований восхищаться современными ему политическими режимами, но его книга не просто

результат озлобления. Это исследование сущности Машины – джинна, которого человек бездумно выпустил из бутылки и не может загнать назад. Такая книга будет достойна внимания, когда появится ее английское издание.

1946 г.

Размышления о Ганди

(пер. Рынкевич В.)

Перевод с английского: 2001 Владимир Рынкевич

До тех пор, пока безгрешность святого не доказана, она остается под сомнением, хотя, разумеется, нельзя подходить ко всем праведникам с одной и той же меркой. В случае с Ганди нас интересует следующее: в какой мере им руководило тщеславие? Не гордился ли он своим могуществом, когда застыв в смиренной наготе на молитвенном коврикe, одной лишь силой духа угрожал империям? Пришлось ли ему пожертвовать своими принципами, занявшись политикой, которая неизбежно связана с насилием и обманом? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо тщательно изучить деятельность Ганди, в том числе литературную, ибо его жизнь – своего рода аскетический подвиг и в ней существенна каждая деталь. Неполная автобиография, завершенная описанием событий 20-х годов, свидетельствует в его пользу, освещая тот период его жизни, который сам Ганди назвал бы периодом духовной слепоты, и позволяет в этом святом или полусвятом увидеть черты исключительно одаренной личности. Ганди мог бы стать блестящим адвокатом, государственным чиновником или даже предпринимателем, но он выбрал иной путь.

Первые главы его книги [[15 - Ганди М. К. Автобиография или История моих опытов с истиной / Пер. с гуджарати Махадев Десай. (Прим. перев.)]] я прочел в какой-то скверно отпечатанной индийской газете. Они произвели на меня хорошее впечатление, чего я не мог тогда сказать о самом Ганди. То, что с ним обычно ассоциировалось – одежда из домотканного сукна, вегетарианство, вера в «душевные силы» – не вызывало у меня симпатии, а его политическая программа отдавала каким-то средневековым и явно не подходила для отсталой, перенаселенной и голодающей страны. К тому же было очевидно, что англичане используют его в своих интересах, по крайней мере сами они так и считали. Как националист – в строгом смысле слова – он был врагом, но поскольку в любой критической ситуации он делал все возможное, чтобы избежать кровопролития, его можно было считать «своим». Для англичан такая политика равносильна отказу от всякой борьбы, поэтому в частных беседах нередко проскальзывало циничное замечание, что Ганди, дескать, защищает интересы Британской короны. Индийских толстосумов он тоже вполне устраивал: в отличие от социалистов и коммунистов, которые стремились прибрать к рукам их капиталы, он призывал их к раскаянию. Время покажет, насколько подобный расчет оказался верным. Ганди часто говорил, что «в конце концов обманщики обманут лишь самих себя»; однако терпимость властей объясняется еще и тем, что они могли его использовать в своих целях. Гнев английских консерваторов он навлек на себя только когда применил тактику ненасилия по отношению к другому агрессору, как это случилось в 1942 г.

Еще тогда я заметил, что даже чиновники колониальной администрации, относившиеся

к Ганди со смешанным чувством неодобрения и сарказма, любили его и чуть ли не восхищались им. Его никогда не обвиняли в продажности и низком тщеславии, никто не смел утверждать, что в основе его деятельности – страх или злой умысел. Говоря о Ганди, невольно исходишь из высших критериев, так что иные его выдающиеся качества остаются незамеченными. Например, даже из автобиографии видно, что он всегда отличался поразительным бесстрашием, на что указывают и обстоятельства его смерти: когда общественный деятель дорожит своей жизнью, он заботится об охране. Несвойственна Ганди и маниакальная подозрительность, столь характерная для его соплеменников. Как справедливо заметил Э. М. Форстер в романе «Поездка в Индию», у индийцев это такой же традиционный порок, как у англичан – лицемерие. Ганди был пронизательным человеком и обмануть его было нелегко, но при этом он хранил непоколебимую веру в искренность и отзывчивость человеческой природы. Типичный представитель среднего сословия, он вырос в бедной семье, с трудом пробивал себе дорогу в жизни и обладал непримечательной наружностью, но он никогда не страдал ни от зависти, ни от чувства неполноценности. Откровенная неприязнь к цветному населению, с которой он впервые столкнулся в Южной Африке, поразила его. Хотя борьба Ганди по сути – борьба цветного населения против европейцев, ему всегда была чужда расовая и социальная дискриминация. Человек прежде всего – человек и в этом смысле ничем не отличается от других людей, кем бы он ни был, губернатором провинции, хлопковым миллионером, голодным кули, английским солдатом. Даже в самые тяжелые годы, как например в Южной Африке, когда Ганди вызвал откровенную враждебность белого населения, защищая права индийской общины, у него было много друзей среди европейцев.

Автобиографию, написанную для еженедельника в виде небольших отрывков, не назовешь литературным шедевром, но читается она с интересом, несмотря на обилие отступлений и множество тривиальных подробностей. Оказывается, в юности Ганди питал типичные для индийского студенчества амбиции, а к своим радикальным взглядам пришел постепенно, а в ряде случаев чуть ли не против своей воли. Было время, когда он носил цилиндр, брал уроки танцев, изучал латынь и французский, поднимался на Эйфелеву башню и даже пытался играть на скрипке – одним словом старался как можно полнее ассимилировать европейскую культуру. Мы слышаны о святых, которые еще в нежном возрасте славились феноменальной набожностью; однако были и другие подвижники, которые удалились от мира, отдав дань пороку. Ганди не принадлежит ни к тем, ни к другим. Он исповедуется во всех прегрешениях юности, хотя и признаваться почти что не в чем. На фронтисписе – фотография, на которой мы видим имущество Ганди в последний период его жизни. За весь этот скарб едва ли можно было выручить больше пяти фунтов, а полное собрание его грехов – по крайней мере плотских – выглядит более чем скромно. Несколько сигарет, несколько кусочков мяса, пара медяков, украденных в детстве у прислуги, два визита в бордель (в обоих случаях он покинул заведение «ничего не совершив»), история с квартирной хозяйкой в Плимуте [[16 - У Оруэлла здесь ошибка, это произошло в Портсмуте, см.: Ганди. Моя жизнь. – М., Наука, 1969. – С. 91-92. (Прим. перев.) Мне часто приходилось читать, что Оруэлл, по мнению переводчика, тут или там ошибся. В каждом случае, после тщательного анализа, это оказывалось не так. В данном случае я тоже не уверен... надо посмотреть. О. Даг.]], когда ему чудом удалось избежать падения, одна-единственная вспышка гнева – вот и все.

С детства Ганди отличался честностью, а его мироощущение имело скорее этический, нежели религиозный характер. Однако вплоть до тридцати лет у него не было сколько-нибудь определенной ориентации, а первые шаги на поприще общественной деятельности сделаны благодаря увлечению вегетарианством, если, конечно,



пропаганду вегетарианства можно считать общественной деятельностью. Свои деловые качества Ганди унаследовал от предков, торговцев средней руки. Даже после того, как он отказался от своих честолюбивых планов, в нем чувствуется способный адвокат, трезвый политик, учредитель всевозможных комитетов и неутомимый охотник за пожертвованиями, скрупулезно учитывающий каждую рупию. Его характер представлял собой удивительную смесь, но обнаружить в нем какую-либо однозначно дурную черту просто невозможно. Вряд ли даже злейшие его враги станут отрицать, что этот удивительный человек сделал мир духовно богаче самим фактом своего бытия. Любил ли он кого-нибудь? Имеет ли его учение какую-либо ценность для тех, кто не приемлет его религиозной основы? Для меня эти вопросы так и остались нерешенными.

В последнее время модно утверждать, будто Ганди не только симпатизировал левому движению на Западе, но чуть ли не был его участником. Особенно рьяно предъявляют на него права анархисты и пацифисты, поскольку Ганди выступал против централизма и осуждал насилие, чинимое государством. При этом почему-то совершенно игнорируют антигуманистическую, потустороннюю направленность его доктрин. Почему-то забывают, что они несовместимы с принципом гуманизма – «человек есть мера всех вещей», а также с нашей общей целью – добиться лучшей жизни не в мире ином, а здесь, на земле. Полностью принять учение Ганди, можно лишь допустив существование Бога и воспринимая окружающий мир как иллюзию, из плена которой необходимо вырваться. Остановимся на правилах, которые Ганди считал обязательными для тех, кто посвятил себя служению Богу или человечеству (правда, он не настаивал, чтобы все его последователи беспрекословно их соблюдали).

Во-первых, необходимо отказаться от мяса, а по возможности и от всякой животной пищи. (Когда здоровье Ганди было подорвано тяжелой болезнью, он был вынужден пить молоко и постоянно упрекал себя в ренегатстве.) Далее, не допускалось курение, употребление спиртных напитков, а также приправ и пряностей, даже если они были растительного происхождения: назначение пищи – поддерживать жизненные силы, а не услаждать вкус.

Во-вторых, воздержание; единственное назначение половой жизни – рождение детей, но и в этом случае сексуальные контакты должны быть сведены к минимуму. В возрасте 37 лет Ганди дал обет «брахмачарья», что подразумевало не только абсолютное воздержание, но и исчезновение сексуального влечения. Без соблюдения специальной диеты и частых постов это недостижимо, а употребление молока сопряжено с опасностью, так как оно вызывает сексуальное желание.

И наконец последнее, самое главное требование: тот, кто стремится к совершенству, должен освободиться от привязанностей и никому не оказывать предпочтения в любви и дружбе.

«Привязанность к друзьям опасна», говорит Ганди, ибо «друзья влияют друг на друга» и из-за верности можно впасть в прегрешение. С этим трудно не согласиться. Возлюбив Бога или человечество в целом, невозможно кого-то любить больше, а кого-то меньше. Бесспорно, это так, и здесь расходятся гуманистическая и религиозная позиция. В понимании обычного человека любовь – это возможность выбора, когда одних людей предпочитают другим, иначе любовь теряет для него всякий смысл. Вряд ли можно сомневаться в любви Ганди к жене и детям, и все же, когда его жена в связи с тяжелой болезнью трижды была на пороге смерти и врач настаивал на мясной диете, Ганди был непреклонен и скорее был готов потерять жену, чем согласиться с врачом. Правда, она выздоравливала, не нарушая обета, а Ганди, оставаясь непоколебимым, всегда оставлял за ней право выбора – сохранить

жизнь ценой отказа от принципов. Но если бы решение зависело только от него, он запретил бы животную пищу, невзирая на смертельный риск; не на все можно пойти ради сохранения жизни, должен быть некий предел, и он – по эту сторону мясного бульона.

Быть может эта позиция и возвышенна, но она негуманна именно в том смысле, который этому слову придает большинство людей. Суть того, что мы называем гуманным, заключается в том, чтобы не стремиться к абсолютному совершенству и не бояться впасть в грехи ради любви и верности; человечность несовместима с аскетическим идеалом, осуждающим привязанности. Человек должен быть готов к тому, чтобы сполна заплатить за любовь к другим людям и принять как неизбежность то, что в конце концов жизнь сломает и победит нас. Подобно тому, как праведники воздерживаются от крепких напитков, табака и прочего, люди должны сторониться святости, хотя наверняка найдутся охотники со мной поспорить. В наш одержимый йогой век многие как-то легко согласились с тем, что отсутствие «привязанностей» лучше честного принятия земной жизни, а средний человек просто не в силах от них отказаться, ибо это нелегко. Иными словами, обычный человек – это что-то вроде неудавшегося святого. Но это далеко не так. Большинство людей действительно не хотят быть святыми, а те, кто хотят, скорее всего, никогда не подвергались искушению быть просто людьми.

Если мы проанализируем психологические мотивы «отказа от привязанностей», то обнаружим желание избежать трудностей и в особенности страданий, сопутствующих любви. Любовь же, как чувственная, так и свободная от чувственности, никогда не бывает легкой. Бессмысленно спорить, какой идеал выше, гуманистический или религиозный, поскольку они несовместимы. Просто надо выбрать одно из двух: Бога или Человека, а все «радикалы» и сторонники «прогресса», от умеренных либералов до самых крайних анархистов, в конце концов выбрали Человека.

Все же пацифизм Ганди в какой-то степени можно рассматривать отдельно, вне связи с остальными положениями его учения. Хотя мотивы этого пацифизма религиозны, Ганди был убежден, что его можно использовать в качестве метода политической борьбы. Позиция Ганди, однако, отличалась от взглядов западных пацифистов. Сатьяграха, впервые осуществленная в Южной Африке, это война без применения силы: чувство ненависти к противнику и причинение физического либо морального ущерба считалось недопустимым, а победа достигалась исключительно мирным путем. Эта тактика основывалась на гражданском неповиновении; проводились массовые демонстрации и забастовки, когда люди ложились на рельсы перед идущим поездом и, не оказывая сопротивления полиции, отказывались разойтись и т. д. Принятый на Западе термин «пассивное сопротивление» по мнению Ганди не передавал сущности движения («сатьяграха» в переводе с гуджарати означает «упорство в истине»).

Во время бурской войны Ганди был санитаром-носильщиком, а когда Англия вступила в 1-ю мировую войну, он вновь выразил готовность послужить империи, ухаживая за ранеными. Решительно осуждая войну и насилие, Ганди честно признавал необходимость принять чью-либо сторону. Центром его политической деятельности было обретение страной национальной независимости, поэтому он никогда не присоединялся к беспомощной лжи тех, кто утверждает, будто во всякой войне обе стороны стоят друг друга и не важно, кто победит.

В отличие от многих западных пацифистов он не боялся щекотливых вопросов. Во время 2-й мировой войны к числу таких вопросов относился следующий: «Как быть с евреями? Если вы против их уничтожения, то как их спасти, не прибегая к военному вмешательству?» Я не припомню ни одного честного ответа, хотя слышал немало

уверток вроде: «Как будто дело в одних евреях!» Как свидетельствует Луис Фишер в книге «Ганди и Сталин», в 1938 году об этом спросили и Ганди, и он ответил, что немецким евреям следует совершить коллективное самоубийство и тем самым «вызвать возмущение всего мира и немецкого народа бесчеловечностью гитлеровского режима». После войны он не отказался от этой точки зрения: евреи все равно погибли, а могли бы умереть осмысленно. Подобные высказывания немало озадачили даже столь горячего поклонника Ганди, как Фишер. Но Ганди был просто до конца честным. Если у тебя не хватает решимости самому лишиться себя жизни, будь готов к тому, что ее могут отнять другие. В 1942 году, призывая к ненасильственному сопротивлению японским захватчикам, Ганди знал, что Индии это может стоить несколько миллионов жизней.

Не следует забывать, что Ганди, родившийся в 1869 году – человек эпохи, отошедшей в прошлое. Он не понимал природы тоталитаризма и видел проблемы современности лишь в свете своей борьбы с английским правительством. Важным моментом здесь представляется не столько терпимость властей, сколько тот факт, что Ганди всегда мог обратиться к общественности. Как видно из его слов, приведенных выше, он верил, что можно «вызвать возмущение всего мира». Но для этого мир должен о тебе услышать. Вряд ли методы Ганди будут эффективны в стране, где представители оппозиции бесследно исчезают в течение одной ночи. Без свободной прессы и права на собрания невозможно ни обратиться к мировой общественности, ни развернуть массовое движение, ни даже заявить противнику о своих намерениях.

Есть ли свой Ганди в России? Если есть, каковы его планы? Русские могут оказать гражданское неповиновение лишь при одном условии: если эта идея каким-либо образом придет в голову каждому. Но даже тогда вряд ли что-нибудь существенно изменится, как показал голод на Украине. Допустим, что тактика ненасилия эффективна в борьбе с правительством своей страны или против агрессора: но как применить ее в международном масштабе? Судя по его довольно противоречивым высказываниям по поводу последней войны, Ганди несомненно понимал, насколько это трудно. В сфере внешней политики пацифизм или перестает быть пацифизмом, или вырождается в примиренчество. В отношениях с людьми Ганди исходил из того, что можно найти подход к любому человеку, и он непременно откликнется на благородный жест. Однако этот его принцип нуждается в серьезной проверке. Ибо он окажется ложным, если мы имеем дело с сумасшедшим. И тогда возникает вопрос: кого считать нормальным? Был ли Гитлер безумцем? Может ли целая культура восприниматься как нечто ненормальное в свете ценностей другой культуры? И коль скоро мы можем судить об умонастроениях целого народа, можно ли утверждать, что между благородным поступком и откликом на него существует прямая связь? Может ли благодарность быть фактором внешней политики?

Эти вопросы настоятельно требуют решения, иначе может случиться так, что в один прекрасный день кто-то нажмет на кнопку и в воздух взлетят смертоносные ракеты. Вряд ли наша цивилизация выдержит еще одну мировую войну, и весьма вероятно, что избежать ее можно ненасильственным путем. То, что Ганди не уклонился от честного ответа на вопрос, о котором говорилось выше, свидетельствует о его мужестве; вопросы, подобные этому, он вероятно обсуждал в своих бесчисленных газетных статьях. Далеко не все было ему ясно и многие проблемы ускользали от его понимания, однако он никогда не боялся размышлять над ними и высказывать свои суждения. Я никогда не чувствовал к нему симпатии, но я считаю, что как политический деятель он допустил серьезный просчет и дело всей его жизни кончилось неудачей.

После его убийства многие его последовали, преданные ему душой и телом, с горечью возопили, что Ганди пришлось своими глазами увидеть, как все его усилия пошли прахом: страна вовлечена в гражданскую войну, как это и предвиделось, поскольку гражданская война – одно из побочных последствий смены власти. У меня подобные настроения вызвали недоумение. Ганди отдал свою жизнь вовсе не ради того, чтобы уладить конфликт между индусами и мусульманами. Его главная политическая цель, мирным путем освободиться от английского владычества, была достигнута.

Достоверные факты, как обычно, перечат друг другу. С одной стороны, англичане ушли из Индии не взявшись за оружие, – мало кто из обозревателей мог предсказать такой поворот событий вплоть до 1947 г., когда это произошло. С другой стороны, это стало возможным благодаря правительству лейбористов, а правительство консерваторов, особенно такое, как при Черчилле, не пошло бы на это ни под каким видом. В Англии в 1945 г. были довольно сильные настроения в защиту Индии, но в какой мере здесь сыграла роль личности Ганди? И если между Англией и Индией в конце концов установятся дружественные отношения, что вполне возможно, будет ли и в этом заслуга Ганди, который упорной борьбой и отсутствием ненависти к противнику дезинфицировал политическую атмосферу? Уже тот факт, что мы задаем себе подобные вопросы, указывает на высокое моральное достоинство этого человека.

Можно, как я, ощущать по отношению к Ганди своего рода эстетическую неприязнь, можно не соглашаться с теми, кто видит в нем святого (кстати, сам он никогда не претендовал на исключительную праведность), можно вообще отвергать идеал святости и исходя из этого считать основные цели Ганди антигуманными и реакционными: но если видеть в нем только политического деятеля и сравнить его с другими ведущими политиками нашего века, какой чистой покажется атмосфера, которую он оставил после себя!

1949 г.

Размышления о Ганди

(пер. Гольшева В.П.)

Перевод с английского: 2003 Гольшев Виктор Петрович

Святых всегда надо считать виновными, пока не доказана их невиновность, но критерии, применяемые к ним, конечно, не могут быть во всех случаях одинаковыми. В случае Ганди хочется задать такой вопрос: в какой степени Ганди был движим тщеславием – представлением о себе как о смиренном голом старике, который сидит на молитвенном коврике и потрясает империю чисто духовной силой, – и до какой степени он компрометирует свои принципы, занимаясь политикой, которая по природе своей неотделима от принуждения и обмана? Чтобы дать исчерпывающий ответ, надо исследовать дела и писания Ганди в подробностях, ибо вся его жизнь была своего рода паломничеством, в которой каждый поступок значим. Но эта частичная автобиография, заканчивающаяся 1920-ми годами[[17 - Ганди М. К. (M. K. Gandhi.) История моих опытов с истиной. (The Story of my Experiments with Truth.) Перевод с гуджарати Махадев Десай. (Translated from the Gujarati by Mahadev Desai.)]] –

веское свидетельство в его пользу, тем более, что она охватывает часть жизни, которую он назвал бы нераскаянной, и напоминает нам, что в этом святом или почти святом сидел очень пронизательный практичный человек, который мог бы при желании блестяще преуспеть на юридическом, административном, а то и на коммерческом поприще.

Когда автобиография только появилась, я, помню, читал ее первые главы на скверно напечатанных страницах какой-то индийской газеты. Они произвели на меня хорошее впечатление, которого сам Ганди тогда не производил. То, что ассоциировалось с ним, – домотканая одежда, «силы души» и вегетарианство, – было непривлекательно, а его средневековая программа – явно непригодна для отсталой, голодающей, перенаселенной страны. Ясно было также, что британцы его используют или думают, что используют. Строго говоря, как националист он был врагом. Но поскольку при каждом кризисе он всячески старался предотвратить насилие – а с британской точки зрения это означало предотвратить какие бы то ни было эффективные действия, – его можно было считать «нашим человеком». В частном порядке это цинично признавали иногда. Так же относились к нему и миллионеры-индийцы. Ганди призывал их покаяться, и, естественно, они предпочитали его социалистам и коммунистам, которые, будь у них возможность, на самом деле отобрали бы деньги. Насколько оправданны такие расчеты в долгой перспективе – сомнительно; как говорит сам Ганди, «в итоге обманщики обманывают только себя»; но, во всяком случае, почти неизменная мягкость в обращении с ним отчасти объяснялась тем, что его считали полезным. Британские консерваторы всерьез рассердились на него только в 1942 году, когда он фактически противопоставил свое «ненасилие» другому завоевателю.

Но я уже тогда видел, что британские чиновники, в чьих разговорах о нем веселая насмешка мешалась с неодобрением, на самом деле любят его и на свой лад им восхищаются. Никому не пришло бы в голову сказать, что он продажен или честолюбив в вульгарном смысле слова, или что его поступки продиктованы страхом или злобой. Оценивая такого человека, как Ганди, инстинктивно применяешь высокие мерки, так что некоторые его достоинства остались почти незамеченными. Даже из его автобиографии явствует, например, что он от природы был наделен выдающейся физической храбростью – и сама его смерть подтверждает это: общественный деятель, сколько-нибудь ценящий свою жизнь, имел бы более чем достаточную охрану. Опять же, он, по-видимому, был совершенно свободен от маниакальной подозрительности, которую Э. М. Форстер справедливо называет в «Пути в Индию» извечным индийским пороком, подобно тому как лицемерие – британский порок. Ему, без сомнения, хватало пронизательности, чтобы распознать нечестность, и однако всегда, когда можно, он был склонен верить, что люди действуют из добрых побуждений, и у каждого есть хорошая сторона, с которой к нему можно подступиться. Хотя происходил он из небогатого среднего сословия, жизнь его начиналась не слишком благополучно и внешне, он, вероятно, не производил большого впечатления. Его не мучила зависть и чувство неполноценности. Хотя Ганди, фактически, вел расовую войну, о людях он не думал в категориях расы или статуса. Губернатор провинции, миллионер-текстильщик, полуголодный дравид-кули, британский рядовой – все в равной степени люди, и подходить к ним надо одинаково. Характерно, что даже в самых худших обстоятельствах, как в Южной Африке, где он боролся за права индийцев и вызывал большое недовольство, у него не было недостатка в друзьях-европейцах.

Писавшаяся короткими кусками для публикации в газете, эта автобиография – не литературный шедевр, но впечатление от нее усиливается именно благодаря обыденности большей части материала. Стоит напомнить, что вначале устремления Ганди были вполне обычными для молодого индийского студента, и радикализм его

убеждений нарастал постепенно, иногда даже против его желания. С интересом узнаешь, что было время, когда он носил цилиндр, брал уроки танцев, изучал французский язык и латынь, поднимался на Эйфелеву башню и даже пытался учиться игре на скрипке – всё это с целью как можно полнее усвоить европейскую культуру. Он не из тех святых, которые с детства отличались необыкновенной набожностью, и не из тех, кто отрекался от мира после юношеских беспутств. Он исповедуется во всех проступках своей молодости, но исповедоваться там почти не в чем. На фронтисписе книги есть фотография имущества Ганди перед смертью. Добра там наберется фунтов на пять, и грехов у Ганди, по крайней мере, плотских грехов, если сложить их в одну кучу, будет примерно столько же. Несколько сигарет, несколько кусочков мяса, несколько монет, в детстве украденных у служанки, два посещения борделя (в обоих случаях он ушел, «ничего не сделал»), одна едва не случившаяся интрижка с домовладелицей в Плимуте, одна вспышка раздражения – вот, примерно, и весь список. Чуть ли не с детства он был глубоко серьезен, причем в этическом отношении, а не религиозном, но лет до тридцати какой-то особой цели жизнь свою не подчинял. Впервые он заявил о себе на публичном поприще – если это можно так назвать, – вегетарианством. Из-под его необыкновенных качеств все время проглядывает основательный бизнесмен среднего достатка – то, что он унаследовал от предков. Чувствуется, что если бы он оставил избранную стезю, то стал бы, наверно, находчивым, энергичным адвокатом и расчетливым политическим организатором, экономным в расходах, ловко управляющимся с разными комиссиями, неутомимым в сборе пожертвований. В характере его смешалось исключительно много разнородных черт, но вряд ли какую-нибудь можно было определенно назвать плохой, и, думаю, что даже злейшие враги Ганди признали бы, что он интересный и необыкновенный человек, обогативший мир одним тем, что он жил на свете. Вызывал ли он в людях любовь и высоко ли ценили его учение те, кто не разделял религиозных взглядов, лежавших в его основании, – в этом я никогда не был вполне уверен.

В последние годы стало модно говорить о Ганди так, как будто он не только симпатизировал западному левому движению, но и прямо принадлежал к нему. Анархисты и пацифисты, в частности, считали его своим, замечая только, что он был противником централизма и государственного насилия, но игнорируя то, что было антигуманистическим, не от мира сего в его доктринах. Учение Ганди – важно иметь это в виду – несовместимо с убеждением, что человек есть мера всех вещей, и что наша задача – сделать жизнь достойной на этой земле, поскольку другой у нас нет. Оно имеет смысл только в предположении, что Бог существует, а мир вещей – иллюзия, от которой надо избавиться. Стоит вспомнить о лишениях, которым подвергал себя Ганди ( хотя, может быть, и не требовал, чтобы все его последователи поступали в точности так же ), считая их обязательными, если ты хочешь служить Богу или человечеству. Прежде всего, не есть мяса и, если возможно, вообще никакой животной пищи. (Сам Ганди из соображений здоровья вынужден был позволить себе молоко, но, кажется, считал это отступничеством). Никакого алкоголя и табака, никаких специй и приправ, даже растительных, ибо пищу надо принимать не ради нее самой, а только чтобы сохранить силы. Во-вторых, по возможности, никаких половых сношений. Если же в них приходится вступать, – то только с целью зачатия и как можно реже. Сам Ганди на четвертом десятке принял обет брахмачарьи, которая предполагает не только целомудрие, но и подавление половых импульсов. Такого состояния, по-видимому, трудно достичь без особой диеты и частых постов. Употребление молока опасно, в частности, тем, что возбуждает половое желание. И наконец, – это кардинальный вопрос – ищущий добродетели не должен иметь близких друзей и любить кого-то в особенности.

Близкая дружба, говорит Ганди, опасна, потому что «друзья реагируют друг на

друга», а преданность другу может довести до прегрешения. Это безусловно так. Больше того, если ты должен любить Бога или любить человечество в целом, то не можешь отдавать предпочтение отдельным людям. Это тоже верно, и как раз тут гуманистическая и религиозная позиции становятся несовместимыми. Для обыкновенного человека любовь ничего не означает, если не означает, что одних людей он любит больше, чем других. Из автобиографии нельзя понять, относился ли Ганди невнимательно к жене и детям, но, по крайней мере, ясно, что в трех случаях он предпочел бы, чтобы жена или ребенок умерли, но не приняли животной пищи, прописанной врачом. Правда, никто тогда все-таки не умер, и правда, что Ганди, хотя и оказывал, судя по всему, сильное моральное давление, всегда предоставлял пациенту право решать, согласен ли он остаться в живых ценой греха; однако, если бы право решать оставалось исключительно за ним, он запретил бы животную пищу, с каким бы риском ни было это сопряжено. Должен быть предел, говорит он, тому, на что мы пойдем ради сохранения своей жизни, и предел этот – по сю сторону куриного бульона. Позиция его, возможно, и благородна, но бесчеловечна в том смысле, как это слово, наверное, понимает большинство людей. Суть человечности не в том, чтобы искать совершенства, а в том, что человек иногда желает совершить грех ради верности, что он не доводит аскетизм до такой степени, когда невозможны дружеские отношения, что он, в конце концов, готов потерпеть жизненный крах, который есть неизбежная плата за то, что ты сосредоточил свою любовь на других людях. Без сомнения, алкоголь, табак и тому подобное – вещи, которых должен избегать святой, но и святость – то, чего должен избегать человек. На это есть очевидное возражение, но прежде, чем выдвинуть его, надо лишний раз подумать. В наш зараженный йогой век слишком легко склоняются к мнению, что «неучастие» лучше полного пристрастия земной жизни, и что избегает этого пути обыкновенный человек только из-за его трудности; другими словами, что рядовой человек – это несостоявшийся святой. Вывод сомнительный. Многие люди искренне не хотят быть святыми, и, возможно, некоторые из тех, кто достиг святости или стремится к ней, никогда не испытывали сильного искушения быть людьми. Если можно было бы добраться до психологических корней, то обнаружилось бы, полагаю, что главный мотив «неучастия» – желание уберечься от страданий жизни и, прежде всего, от любви, ибо любовь – тяжелый труд, неважно, половая она или не половая. Но нет надобности рассуждать здесь, какой идеал «выше» – неотмирный или гуманистический. Важно то, что они несовместимы. Приходится выбирать между Богом и человеком, и все «радикалы» и «прогрессисты», от умереннейшего либерала до крайнего анархиста на самом деле выбрали Человека.

Однако пацифизм Ганди можно до некоторой степени отделить от других его учений. Побудительной силой его пацифизма была религиозность, но Ганди утверждал также, что это – определенный метод, позволяющий добиваться желательных политических результатов. Позиция Ганди была не такая, как у большинства западных пацифистов. Движение Сатьяграха, вызревшее в Южной Африке, было своего рода ненасильственной войной, способом победить врага, не причинив ему вреда, не испытывая и не вызывая ненависти. Инструментами его были гражданское неповиновение и забастовки; люди ложились на рельсы перед поездами, выдерживали атаки полиции, не убегая, но и не оказывая сопротивления, и т. д. Ганди возражал против того, чтобы Сатьяграха переводилось как «пассивное сопротивление»: на гуджарати это слово означает что-то вроде «твердости в правде». В молодые годы на англо-бурской войне Ганди был санитаром-носильщиком в британских войсках и готов был делать то же самое на войне 1914–18 гг. Даже после того, как он полностью отказался от насилия, у него доставало честности понять, что во время войны обычно приходится быть на той или другой стороне. Он не принял – да и не мог принять, поскольку вся его политическая жизнь сосредоточилась на борьбе за национальную независимость, – бесплодную и нечестную тактику притворства: не

делал вид, будто в каждой войне обе стороны одинаково плохи, и неважно, кто победит. Не уваливал он и от неудобных вопросов, не в пример большинству западных пацифистов. В последней войне каждый пацифист обязан был ясно ответить на такой вопрос: «Как быть с евреями? Ты готов примириться с их истреблением? А если нет, то как предполагаешь спасти их, не прибегая к войне?» Должен сказать, я никогда не слышал от западных пацифистов честного ответа на этот вопрос, хотя слышал множество уклончивых, чаще всего – типа «и вы о том же». Но вот Ганди задали похожий вопрос в 1938 году, и ответ его зафиксирован в книге мистера Луиса Фишера «Ганди и Сталин». Согласно мистеру Фишеру, Ганди считал, что немецким евреям следовало совершить коллективное самоубийство, которое «открыло бы миру и немецкому народу глаза на жестокость Гитлера». После войны он оправдался: евреев все равно убили, а так они могли хотя бы умереть со смыслом. Создается впечатление, что эта позиция ошеломила даже такого горячего поклонника, как мистер Фишер, но Ганди всего лишь ответил честно. Если ты не готов отнять чужую жизнь, то зачастую должен быть готов к тому, что жизни будут отняты как-то иначе. В 1942 году, когда Ганди призывал к ненасильственному сопротивлению японским захватчикам, он был готов признать, что это может стоить нескольких миллионов жизней.

В то же время, есть основания думать, что Ганди, родившийся как-никак в 1869 году, не понимал природы тоталитаризма и смотрел на всё с точки зрения своей борьбы против британского правительства. Важно здесь не столько то, что британцы обращались с ним терпеливо, сколько то, что он всегда мог донести до людей свои взгляды. Как видно из процитированной фразы, он верил в то, что можно «открыть миру глаза», – а это возможно только тогда, когда мир имеет возможность услышать, что ты делаешь. Трудно представить себе, каким образом методы Ганди можно использовать в стране, где противники режима исчезают среди ночи и уходят в небытие. Без свободы прессы и свободы собраний не только нельзя обратиться к мировому мнению – нельзя вызвать к жизни массовое движение и даже объяснить свои намерения противнику. Есть ли сейчас в России свой Ганди? И если есть, то чего он достиг? Русские люди могут прибегнуть к гражданскому неповиновению, если только эта идея придет им в голову всем одновременно, и даже тогда – судя по истории украинского голода – это ничего не изменит. Но допустим, ненасильственное сопротивление может воздействовать на собственное правительство или на оккупантов, – но как осуществить его на практике в международном масштабе? Противоречивые заявления Ганди по поводу последней войны показывают, что этот вопрос представлял для него трудность. В применении к внешней политике пацифизм либо перестает быть миролюбивым, либо превращается в умиротворение. Кроме того, предположение Ганди, так помогавшее ему в общении с отдельными людьми, – что к каждому можно найти подход, и человек откликнется на великодушный жест, – предположение это весьма сомнительно. Оно, например, не обязательно оправдывается, когда имеешь дело с сумасшедшими. И тут возникает вопрос: кто нормален? Гитлер был нормален? И не может ли целая культура быть безумной, по меркам другой культуры? И, судя по чувствам целых народов, есть ли очевидная связь между благородным деянием и дружественным откликом? Является ли благодарность фактором в международной политике?

Эти и подобные вопросы нуждаются в обсуждении, и обсудить их надо срочно, в ближайшие годы, пока кто-то не нажал на кнопку, и не полетели ракеты. Сомнительно, чтобы цивилизация выдержала еще одну большую войну. И уж совсем трудно представить себе, чтобы выход можно было найти через ненасилие. Достоинство Ганди в том, что он готов был бы честно рассмотреть подобные вопросы, и, полагаю, он так или иначе обсуждал их в своих бесчисленных газетных статьях. Чувствуется, что многого он не понимал, но не было такого, о чем он



побоялся бы говорить или думать. Я никогда не мог вполне расположиться к Ганди, но не могу сказать с уверенностью, что он был не прав в главном, как политический мыслитель – и не верю, что он потерпел неудачу. Любопытно: когда его убили, многие его поклонники восклицали с грустью, что он успел еще при жизни увидеть крушение всех своих трудов, поскольку в Индии шла гражданская война – вполне ожидаемый побочный результат смены власти. Но Ганди положил жизнь не на то, чтобы погасить соперничество между индуистами и мусульманами. Его главная политическая цель – мирное окончание британского владычества – в конце концов была достигнута. Как всегда, сопутствующие факты переплетаются самым сложным образом. С одной стороны, британцы, действительно, ушли из Индии без боя – событие, которое еще за год до этого мало кто из наблюдателей мог предвидеть. С другой стороны, это случилось при лейбористском правительстве, а консервативное правительство, в особенности, возглавляемое Черчиллем, наверняка повело бы себя иначе. Но если к 1945 году значительная часть британского общества доброжелательно относилась к независимости Индии, какова в этом личная заслуга Ганди? И если, что вполне возможно, между Индией и Британией наконец установятся вполне приличные и дружественные отношения, не будет ли это отчасти следствием того, что Ганди, борясь упрямо и без ненависти, дезинфицировал политическую атмосферу? Одно то, что в голову приходят такие вопросы, говорит о калибре этого человека. Можно ощущать, как я ощущаю, некую эстетическую неприязнь к Ганди, можно не соглашаться с теми, кто пытается записать его в святые (сам он, между прочим, никогда на это не претендовал), можно отвергать и сам идеал святости и потому считать исходные пункты его учения антигуманными и реакционными; но если рассматривать его просто как политика и сравнивать с другими ведущими политическими фигурами нашего времени, какой чистый запах оставил он после себя!

1949 г.

#### Примечания

1 *in saecula saeculorum* (лат.) – во веки веков.

2 *in terrorem* (лат.) – для устрашения.

3 И прочих в том же роде (лат.)

4 И наша решимость бороться до конца (исп.)

5 Бессмысленность приложения к искусству моральных и эстетических догм и связанная с этим критика идей Толстого (одного из любимых писателей автора статьи) более обстоятельно развита Оруэллом через шесть лет в эссе «Лир, Толстой и шут» (СЕ, II, Р. 331-348). (Комментарии и примечания: В. А. Чаликова)

6 ...на прошлой неделе я говорил... – Оруэлл ссылается на свое выступление на Би-би-си 30 апреля 1941 г. «Границы искусства и пропаганды» (СЕ, II, Р. 149-153).

7 Статья Толстого о Шекспире... – Статья «О Шекспире и драме» написана в 1903 г., перв. публ. в газете «Русское слово», издана брошюрой в 1907 г. (см.: Поли. собр. соч., Т. 35, М., 1950, С. 216-272). Начав писать предисловие к статье американского поэта и общественного деятеля Э. Кроссби «Шекспир и рабочий класс». Толстой глубоко увлекся темой. «Мне нужно было высказать то, что сидело во мне полстолетия» (письмо к В. В. Стасову 9 октября 1903 г. – Поли. собр. соч., Т. 74, С. 202). Известны и высокие оценки Толстым Шекспира, правда устные,

записанные С. А. Толстой, А. Б. Гольденвейзером, московским артистом Т. Н. Селивановым.

8 ...к разбору «Тимиона Афинского» К. Марксом... – Трагедию Шекспира К. Маркс анализировал в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. Госполитиздат, 1956, с. 616-620), а также в «Немецкой идеологии» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 3, С. 217-220). Маркс высоко оценивал способность Шекспира проникать в скрытую суть социальных отношений, понимание им реальной роли богатства, денег и их соотношения с личностью.

9 Привилегия Духовных Пастырей То есть неподсудность светскому суду. В Англии до начала девятнадцатого века такую привилегию имело духовенство.

10 «Тайная жизнь Сальвадора Дали» (Дайэл-пресс, Нью-Йорк)

11 Дали упоминает «L'Age d'Or», сообщая, что первый публичный просмотр был сорван хулиганами, но подробно о фильме не рассказывает. По воспоминаниям Генри Миллера, в фильме среди прочего есть довольно подробные кадры испражняющейся женщины.

12 Имя героя пьесы Джеймса Барри (1904) стало нарицательным – так в Англии зовут несколько инфантильного человека, сохранившего детскую непосредственность и живое воображение, – Примеч. переводчика

13 Второй раз Оруэлл написал о Замятине в январе 1947 г., когда был анонсирован английский перевод «Мы» (он не состоялся; «Мы» вышло в английском переводе в США в 1925 г., а в Англии – только в 1969 г.) У. Стейнхофф считает, что Оруэлл прочитал «Мы» на французском языке («Nous Autres») между июнем 1944 г. и осенью 1945 г., т. е. после возникновения замысла «1984» – см. комментарий к роману – (Steinhoff W. Op. cit., p. 226).

В 1948 г. в письме к Глебу Струве Оруэлл сообщает, что собирается написать статью о Замятине для «Литературного приложения» к «Таймс» и разыскивает его вдову в связи с планом публикации других книг Замятина (неосуществленным) (СЕ, IV, 417).

В марте 1949 г. Оруэлл пишет Ф. Уорбургу: «Это возмутительно, что книга такой удивительной судьбы и такого огромного значения не выходит к читателю» (СЕ, IV, 486). Таким образом Оруэлл (в отличие от О. Хаксли) всячески пропагандировал книгу, оказавшую столь сильное и явное влияние на его роман.

Уже в этой рецензии определяется главный вызов Оруэлла Замятину (и Хаксли) – неприятие схемы будущего государства, которое компенсирует отнятую у граждан свободу покоем и благополучием. Скорее, по Оруэллу, за несвободой последуют лишения и террор.

Комментарии и примечания: В. А. Чаликова

14 Из книги Глеба Струве... – В письме от 17.II.1944 г. Оруэлл благодарит Струве за присылку этой книги. В этом же письме он пишет: «Вы меня заинтересовали романом «Мы», о котором я раньше не слышал. Такого рода книги меня очень интересуют, и я даже делаю наброски для подобной книги, которую раньше или позже напишу» (СЕ, III, 95). Интересно, что в этом же письме Оруэлл сообщил Струве и о замысле «Скотного двора» (без названия) и выразил опасение, что из-за политической конъюнктуры у него будут трудности с публикацией.

15 Ганди М. К. Автобиография или История моих опытов с истиной / Пер. с

гуджарати Махадев Десай. (Прим. перев.)

16 У Оруэлла здесь ошибка, это произошло в Портсмуте, см.: Ганди. Моя жизнь. – М., Наука, 1969. – С. 91-92. (Прим. перев.)

Мне часто приходилось читать, что Оруэлл, по мнению переводчика, тут или там ошибся. В каждом случае, после тщательного анализа, это оказывалось не так. В данном случае я тоже не уверен... надо посмотреть. О. Даг.

17 Ганди М. К. (M. K. Gandhi.) История моих опытов с истиной. (The Story of my Experiments with Truth.) Перевод с гуджарати Махадев Десай. (Translated from the Gujarati by Mahadev Desai.)